

«Лучшая книга десятилетия!»
«ROLLING STONE»

МАЛЬЧИК ГЛОТАЕТ ВСЕЛЕННУЮ



А в конце —
мертвый
синий
крапивник

ТРЕНТ ДАЛТОН

**MUST
READ**
ПРОЧЕТА ВСЕХ

MustRead – Прочесть всем!

Трент Далтон

Мальчик глотает Вселенную

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.111-31(94)
ББК 84(8Авс)-44

Далтон Т.

Мальчик глотает Вселенную / Т. Далтон — «Издательство АСТ»,
2018 — (MustRead – Прочесть всем!)

ISBN 978-5-17-112541-7

Детство двенадцатилетнего Илая Белла не назвать обычным. Его старший брат Август – ясновидящий гений, принявший обет молчания и общающийся с миром с помощью фраз, написанных в воздухе. Его отчим Лайл – профессиональный наркодилер средней руки. Его мир – австралийское предместье. А место няньки и учителя при нем занимает Артур Холлидей по прозвищу Гудини – философ и чемпион по успешным побегам из тюрем. Такова «вселенная» Илая – мальчика, кому скоро предстоит влюбиться в девушку, которую он никогда не видел, спасти мать, вступить в неравную схватку с таинственным криминальным боссом Титусом Брозом и начать получать советы из трубки отключенного красного телефона...

УДК 821.111-31(94)

ББК 84(8Авс)-44

ISBN 978-5-17-112541-7

© Далтон Т., 2018

© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Мальчик пишет слова	5
Мальчик создает радугу	14
Мальчик берет след	26
Мальчик получает письмо	41
Мальчик убивает быка	54
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Трент Далтон

Мальчик глотает Вселенную

*Маме и папе.
Джозель, Бену и Джесси*

Мальчик пишет слова

А в конце – мертвый синий крапивник.

– Ты видел это, Дриш?

– Видел что?

– Ничего.

А в конце – мертвый синий крапивник. В этом нет никаких сомнений. *А в конце.* Да, точно. *Мертвый. Синий. Крапивник.*

Трещина в лобовом стекле Дрища выглядит как высокий безрукий хоккеист, присевший в реверансе. Трещина в лобовом стекле Дрища выглядит, как сам Дриш. Его «дворники» выскребли мутную дугу в застарелой грязи на моей пассажирской стороне. Дриш говорит, что хороший способ для меня запоминать мелкие подробности моей жизни – это связывать моменты и зрительные образы с теми предметами на моей персоне или в обычной жизни наяву, которые я часто вижу, обоняю или трогаю. Нательные вещи, постельное белье, кухонные принадлежности. Таким образом, у меня будет два воспоминания о любой подробности по цене одного. Так Дриш победил Черного Питера. Так Дриш выжил в Дыре. Все имело два значения: одно там, где он был тогда – камера Д-9, второй отряд, тюрьма Богго-Роуд, и другое в той безграничной и незапертой Вселенной, простирающейся в его голове и сердце. Ничего *здесь*, кроме четырех зеленых бетонных стен, крошечной тьмы и его одинокого неподвижного тела. В углу стальная кровать с железной сеткой, приваренная к стене. Зубная щетка и пара тряпочных тюремных тапочек. Но чашка прокисшего молока, просунутая через прорезь в двери камеры молчаливым тюремщиком, уносила его *туда*, в Ферн-Гроув, в 1930-е годы, где он был долговым молодым батраком на молочной ферме на окраине Брисбена. Шрам на предплечье стал порталом к катанию на велосипеде в детстве. Веснушка на плече была червоточинной, ведущей к пляжам Солнечного побережья. Одно прикосновение к ним – и он исчезал. Сбежавший заключенный, остающийся в камере Д-9. Симулирующий свободу и никогда не убегающий, что было так же хорошо, как и раньше – до того, как его бросили в Дыру, – когда он был по-настоящему свободным, но всегда в бегах.

Дриш касался гор и долин из суставов своих пальцев, и они забирали его *туда*, к Золотому берегу, доводили до Спрингбрукских водопадов, и холодная стальная рама тюремной кровати в камере Д-9 становилась размытым известняковым камнем, а ледяной тюремный бетонный пол превращался в теплую летнюю воду, в которую можно опустить пальцы ног. Дриш дотрагивался до своих растрескавшихся губ и вспоминал, что чувствовал, когда нечто такое мягкое и совершенное, как губы Ирен, касалось их, и как она отпускала все его грехи и успокаивала всю его боль одним умиротворяющим поцелуем, отмывала его дочиста, словно водопад, белыми струями разбивающийся о его голову.

Я более чем обеспокоен – оттого, что тюремные фантазии Дрища становятся моими. Ирен, лежащая на мокром и мшистом до изумрудности валуне, голая и светловолосая, хихикающая, как Мэрилин Монро, запрокинувшая голову, свободная и могущественная, повелительница Вселенной любого человека, хранительница снов, видение *там*, чтобы держаться

здесь, позволяющее лезвию тюремной заточки подождать еще один день. «У меня был взрослый ум», – всегда говорит Дрищ. Вот так он победил Черного Питера – подземную камеру-изолятор тюрьмы Богго-Роуд. Его бросили в этот средневековый ящик на четырнадцать дней во время летней жары в штате Квинсленд. Ему дали полбуханки хлеба на две недели. Ему дали четыре, может быть, пять кружек воды.

Дрищ говорит, что половина его товарищей по Богго-Роуд отбросили бы копыта уже через неделю в Черном Питере, потому что половина обитателей любой тюрьмы, да и любого крупного города мира, если уж на то пошло – состоит из взрослых мужчин с мозгами детей. Но взрослый ум может вывести взрослого человека откуда угодно. В Черном Питере была колючая циновка из кокосового волокна, на которой он спал, размером с половичок для входной двери, длиной где-то с берцовую кость Дрища. Каждый день, рассказывает Дрищ, он лежал на боку на этой циновке, подтянув колени высоко к груди, закрывал глаза и распахивал дверь в спальню Ирен, проскальзывал под белую простыню Ирен, нежно прижимался к ее телу, обнимал правой рукой ее фарфорово-белый живот и оставался там – все четырнадцать дней.

– Свернулся, как медведь, и впал в спячку, – говорит он. – Стало так уютно там в аду, что я даже не хотел вылезать обратно.

Дрищ говорит, что у меня взрослый разум в теле ребенка. Мне всего двенадцать лет, но Дрищ считает, что я могу вынести тяжелые истории. Дрищ считает, что я должен выслушать все тюремные истории об изнасилованиях мужчин и о людях, которые вешались на скрученных простынях, глотали острые куски металла, чтобы разорвать свои внутренности и гарантировать себе недельные каникулы в солнечной Королевской Брисбенской больнице. Я думаю, иногда он заходит слишком далеко с подробностями – кровь, брызжащая из изнасилованных задниц, и тому подобное.

– Свет и тень, малыш, – говорит Дрищ. – Ни от света, ни от тени не убежишь.

Мне нужно услышать истории о болезнях и смертях там, внутри, чтобы понять значение тех воспоминаний об Ирен. Дрищ говорит, что я способен вытерпеть жесткие рассказы, поскольку возраст моего тела ничего не значит по сравнению с возрастом моей души, предполагаемые границы которого он постепенно сузил – где-то между «слегка за семьдесят» и старческим маразмом. Несколько месяцев назад, сидя в этой же самой машине, Дрищ сказал, что с удовольствием сидел бы со мной в одной камере, потому что я умею слушать и помню то, что услышал. Одинокая слеза скатилась по моему лицу, когда он оказал мне эту великую честь – быть его соседом.

«Внутри слезы ни к чему», – сказал он. Я и не понял, где это «внутри» – в тюрьме или внутри себя.

Я плакал наполовину от гордости, а наполовину от стыда, потому что я недостойн. Если слово «достойн» вообще годится употреблять парню, с которым можно вместе мотать срок.

«Прости», – сказал я, извиняясь за слезы.

Дрищ пожал плечами.

«Там осталось больше, чем вытекло», – сказал он.

А в конце – мертвый синий крапивник. *А в конце – мертвый синий крапивник.*

Я запомню радугу старой грязи, размазанной по лобовому стеклу Дрища, связав ее с полоской на ногте моего левого большого пальца, похожей на восходящую молочно-бледную луну. И отныне всегда, когда я взгляну на такую бледную луну, – я буду вспоминать тот день, когда Артур «Дрищ» Холлидей, величайший беглец из всех когда-либо живших, чудесный и неуловимый «Гудини из Богго-Роуд», учил меня – Илая Белла, мальчика со старой душой и взрослым умом, главного кандидата в сокамерники, не способного сдержаться слез, – водить его ржавую темно-синюю «Тойоту-Лэндкрузер». Тридцать два года назад, в феврале 1953 года, после шестидневного судебного разбирательства в Верховном Суде Брисбена, судья по имени

Эдвин Джеймс Дротон Стэнли приговорил Дрища к пожизненному заключению за жестокое избиение до смерти таксиста Атола Маккоуэна рукояткой пистолета «Кольт» 45-го калибра. Газеты всегда называли Дрища «убийцей таксиста».

Я зову его просто своим нянькой.

– Сцепление, – говорит он.

Левое бедро Дрища напрягается, когда его старая загорелая нога, морщинистая от семисот пятидесяти линий жизни, потому что ему может быть и семьсот пятьдесят лет, выжимает сцепление. Старая загорелая левая рука Дрища переключает передачу. Самокрутка со столбиком серого пепла ненадежно держится в уголке его губ.

– Нейтра-а-алка.

Через трещину в лобовом стекле я вижу своего брата, Августа. Он сидит на нашем заборе из коричневого кирпича и пишет историю своей жизни, указательным пальцем правой руки вырисовывая слова в воздухе плавным курсивом.

Мальчик пишет в воздухе.

Этот мальчик пишет в воздухе так же, как Моцарт играл на пианино, по словам моего старого соседа Джина Кримминса – будто аккуратно упаковывая каждое слово в посылку и отправляя за пределы своего занятого ума. Не на бумаге, в блокноте или на пишущей машинке, а в воздухе, в невидимом веществе, существование которого есть великий акт веры, веществе, о котором вы и не подозревали бы, если бы оно иногда не превращалось в ветер, дующий вам прямо в лицо. Заметки, размышления, дневниковые записи – все это писалось в прозрачном воздухе, вытянутый указательный палец рассекал воздух и ставил точки, записывая слова и фразы в никуда, как будто Август просто хотел выкинуть это из головы, но ему нужно было, чтобы его история хорошенько, навсегда растворилась в пространстве, пока он обматывал палец в невидимый стакан нескончаемых чернил. Слова ни к чему внутри. Им всегда лучше снаружи, чем внутри.

В левой руке он сжимает принцессу Лею. Этот парень никогда не отпускает ее. Шесть недель назад Дрищ взял Августа и меня посмотреть все три фильма «Звездные войны» в автомобильном кинотеатре в Йетале. Мы вглядывались в далекую-далекую галактику с заднего сиденья «Лэндкрузера», положив головы на надутые пакеты из-под вина, которые в свою очередь опирались на старый, воняющий мертвой кефалью котел для крабов, пристроенный Дрищем в задней части рядом с ящиком для снастей и древней керосиновой лампой. В ту ночь над юго-восточным Квинслендом было так много звезд, что когда «Тысячелетний сокол» полетел к краю экрана, мне на мгновение показалось – он может просто вылететь в наши собственные звезды и на сверхсветовой скорости улететь в Сидней.

– Ты меня слушаешь? – рявкает Дрищ.

– Ага.

Нет. На самом деле я никогда не слушаю, как следует. Я всегда слишком много думаю об Августе. О маме. О Лайле. Об очках Дрища в роговой оправе. О глубоких морщинах на лбу Дрища. О том, как он смешно ходит с тех пор, как выстрелил себе в ногу в 1952 году. О том, что у него есть счастливая веснушка, как у меня. О том, как он поверил, когда я сказал ему, что моя счастливая веснушка обладает особой силой, что она многое значит для меня, и когда я нервничаю, боюсь или теряюсь, мое первое побуждение – посмотреть на эту темно-коричневую веснушку посередине сустава моего правого указательного пальца. И тогда я чувствую себя лучше. Звучит глупо, Дрищ, сказал я. Звучит безумно, Дрищ, сказал я. Но это так. А он показал мне свою собственную счастливую веснушку, почти родинку, прямо на бугристом холмике своей правой запястной кости. Он сказал, что побаивается – вдруг она может стать злокачественной, но это его счастливая веснушка, и он не может заставить себя ее вырезать. В Д-9, добавил он, эта веснушка стала священной, потому что напоминала ему веснушку, которая была у Ирен на внутренней стороне левого бедра, недалеко от ее «святая святых», и

он заверил меня, что однажды я тоже узнаю это замечательное место на внутренней стороне бедра женщины, и я почувствую то же, что почувствовал Марко Поло, когда впервые провел пальцами по шелку.

Мне понравилась эта история, и я рассказал Дришу, как впервые увидел свою веснушку на костяшке указательного пальца правой руки в возрасте четырех лет, сидя в желтой рубашке с коричневыми рукавами на длинном коричневом виниловом диване, насколько я помню. В этом воспоминании работает телевизор. Я смотрю на свой указательный палец и вижу веснушку, затем поднимаю глаза, поворачиваю голову вправо и вижу лицо, которое, как мне кажется, принадлежит Лайлу, но может принадлежать и моему отцу, хотя я на самом деле не помню отцовского лица.

Так что веснушка – это всегда Осознанность. Мой личный Большой Взрыв. Гостиная. Желтая рубашка. И я возвращаюсь. Я здесь. Я сказал Дришу, что все остальное под вопросом, что четырех лет до того момента с тем же успехом могло и вовсе не быть. Дриш улыбнулся, когда я так сказал. Он ответил, что веснушка на моем правом указательном пальце означает «дом».

Зажигание.

– Черт побери, слышь, ты, Спиноза? Что я только что сказал? – гаркает Дриш.

– Нажимать ногой плавно?

– Ты просто сидишь и глазеешь на меня. Ты выглядишь так, как будто слушаешь, но ты, блин, ни хера не слушаешь! Твои глаза шарили по моему лицу, смотрели то туда, то сюда, но ты не слышал ни слова.

Это Август во всем виноват. Мальчик не разговаривает. Болтливый, как наперсток, общительный, как виолончель. Он может говорить, но не хочет. Я не помню от него ни единого слова. Ни мне, ни маме, ни Лайлу, ни даже Дришу. По-своему он общается достаточно хорошо, выражает различные оттенки беседы, мягко касаясь вашей руки, смеясь, покачивая головой. Он может сообщить вам, как себя чувствует, по манере откручивать крышку банки с шоколадной пастой. Он может показать, как счастлив – по тому, как намазывает бутерброд; как грустит – по тому, как завязывает шнурки на ботинках. Иногда я сижу напротив него в гостиной, и мы играем в «Супер Брейкаут» на «Атари», и бывает так забавно, когда я смотрю на него в ответственный момент и чувствую, что – клянусь! – он собирается что-то сказать. «Скажи то, что хочешь, – говорю я. – Я же вижу, что ты хочешь что-то сказать. Просто скажи, и все». Он улыбается, наклоняет голову влево и поднимает левую бровь, а правой рукой делает дугообразное движение, словно протирает невидимый купол снежного дома над головой, – это он так говорит мне, что сожалеет, но увы. *Однажды, Илай, ты поймешь, почему я не говорю. Не сегодня, Илай. А теперь иди нахрен.*

Мама утверждает, что Август перестал разговаривать, когда она сбежала от нашего отца. Августу тогда было шесть лет. Она говорит, что Вселенная украла слова ее мальчика, когда она не смотрела, когда она была слишком захвачена вещами, которые собирается рассказать мне потом, когда я стану старше, – как случилось, что Вселенная украла ее мальчика и заменила его на загадочного пришельца высшего уровня, с которым мне в последние восемь лет приходится делить двухъярусную кровать.

Время от времени какой-нибудь злосчастный паренек из класса Августа начинает его дразнить за отказ разговаривать. Реакция брата всегда одинаковая: он подходит к особенно зарвавшемуся школьному хулигану месяца, который на свою беду не осознает скрытый накал психопатического гнева Августа, и, благословенный официальной неспособностью объяснять свои поступки, просто атакует челюсть, нос и ребра этого мальчика одной из шестнадцати трехударных боксерских комбинаций, которым Лайл, давний бойфренд мамы, неустанно обучал нас обоих в бесконечные зимние выходные на кожаной боксерской груше, подвешенной в

сарай на заднем дворе. Лайл мало во что верит, но он верит в силу переломанного носа, которая изменяет обстоятельства.

Учителя, как правило, принимают сторону Августа, потому что парень отличник и стремится к знаниям. Когда детские психологи стучатся в дверь, мама шуршит перед ними блестящей характеристикой от прежнего учителя, которая объясняет, почему Август – мечта для любого класса и почему система образования в Квинсленде только выиграет от большего количества детей, подобных ему, – полностью нахер немых.

Мама говорит, что, когда Августу было пять или шесть, он мог часами смотреть на всякие отражающие поверхности. Пока я грохотал игрушечными грузовиками и играл в кубики на кухонном полу, когда мама пекла морковный пирог – он пристально смотрел в старое круглое мамино зеркало от макияжного набора. Он часами сидел возле луж, глядя на свое отражение – не в стиле Нарцисса, но в том, что мама считала исследовательской манерой, как будто он действительно что-то там искал. Я проходил мимо дверного проема нашей спальни и ловил его строящим рожи в зеркале, стоящем у нас на старом деревянном комоде. «Нашел что-нибудь?» – спросил я его однажды, когда мне было девять. Он с пустым лицом отвернулся от зеркала, и изгиб над левым уголком его губ сказал мне, что за кремовыми стенами нашей спальни есть мир, к которому я не готов и не нуждаюсь в нем. Но я продолжал задавать ему этот вопрос всякий раз, когда видел, как он смотрит на себя. «Нашел что-нибудь?»

Он всегда наблюдал за Луной, отслеживал ее путь над нашим домом из окна спальни. Он знал, когда под каким углом падает лунный свет. Иногда, глубоко в ночи, он в одной пижаме выбирался из нашего окна, разматывал шланг и волочил его до самого переднего водосточного желоба, где сидел часами, молча поливая улицу водой. Когда у него получались правильные углы, в гигантской луже появлялось серебряное отражение полной луны. «Это Лунный пруд», – торжественно провозгласил я одной холодной ночью. Август просиял, обнял меня правой рукой за плечи и кивнул, как мог кивать Моцарт в конце любимой Джинном Кримминсом оперы «Дон Жуан». Он присел рядом и правым указательным пальцем начертил на поверхности Лунного пруда три слова превосходным курсивом.

«Мальчик глотает Вселенную», – написал он.

Именно Август научил меня обращать внимание на детали: как читать по лицу, как извлекать всю возможную информацию из невербального, как воспринять выражение, настроение и историю от каждой из безмолвных подробностей, которые у вас прямо перед глазами, – те штуки, которые говорят с вами без разговора с вами. Это Август научил меня, что я не всегда должен слушать. Я могу и просто смотреть.

«Лэндкрузер» оживает, дребезжа коротким металлическим звуком, и я подпрыгиваю на виниловом кресле. Два пластинки жевательной резинки «Джуси Фрут», пролежавшие в кармане семь часов, выскальзывают из моих шорт в поролоновую дырку на сиденье, которое серьезный, верный и теперь уже мертвый пес Дрища, белый битцер по имени Пат, регулярно жевал во время их частых поездок вдвоем из Брисбена в город Джимна, к северу от Килкоя, в послетюремные годы Дрища.

Полное имя Пата было Патч, но Дрищ с трудом мог это произнести. Он и собака регулярно мыли золото в секретном русле ручья в глухом лесу за Джимной, в котором, по мнению Дрища, и в наши дни содержалось достаточно золота, чтобы заставить царя Соломона выразительно приподнять бровь. Он до сих пор выбирается туда со своим старым лотком, в первое воскресенье каждого месяца. Но какой поиск золота без Пата, говорит он. Это Пат мог по-настоящему охотиться за золотом. У собаки был нюх на это. Дрищ считает, что Пат по-настоящему жаждал золота и являлся первым в мире псом, заболевшим «золотой лихорадкой». «Блестящая болезнь, – говорит он. – Она-то Пата и сгубила».

Дрищ берется за рычаг переключения передач.

– Плавно выжимаешь сцепление вниз. Первая. Отпускаешь сцепление.

Мягкое нажатие на педаль газа.

– И оставляешь ногу на педали.

Неуклюжий «Лэндкрузер» проезжает вперед три метра вдоль нашего поросшего травой бордюра, и Дрищ тормозит. Машина встает напротив Августа, все еще яростно пишущего в воздухе правым указательным пальцем. Дрищ и я выворачиваем головы сильно влево, чтобы понаблюдать за явной вспышкой творчества Августа. Когда он заканчивает писать полное предложение – то вытирает воздух, как будто обозначает перерыв. Он одет в свою любимую футболку с надписью «Ты еще ничего не видел» радужными буквами. Встрепанные каштановые волосы, стрижка под «битла». На нем старые сине-желтые шорты болельщика «Параматта Илз», принадлежавшие ранее Лайлу, несмотря на то, что за тринадцать прожитых лет, по крайней мере пять из которых Август провел, наблюдая за играми «Параматта Илз» на диване вместе со мной и Лайлом, у него не возникло ни малейшего интереса к регби. Наш дорогой загадочный мальчик. Наш Моцарт. Август на год старше меня, но Август на год старше любого человека. Август на год старше Вселенной.

Когда он заканчивает писать пять полных предложений – то облизывает кончик указательного пальца, будто обмакивает в чернильницу гусиное перо, а затем снова подключается к тому мистическому источнику, который водит его рукой, когда он пишет свои невидимые строки. Дрищ расслабляет руки на руле, глубоко затягивается самокруткой, не сводя глаз с Августа.

– Что он сейчас пишет? – спрашивает Дрищ.

Август не обращает внимания на наши взгляды, его глаза следят только за буквами в его личном голубом небе. Возможно, для него это бесконечная стопка линованной бумаги, на которой он пишет в своей голове, а может, он видит черные линии, протянувшиеся прямо по небу. С моей стороны его невидимые письма выглядят зеркальными. Я могу прочесть их, если гляжу на него под правильным углом, если вижу очертания букв достаточно ясно, чтобы перевернуть их в своей голове, снова отзеркалить в своем сознании.

– Одну и ту же фразу снова и снова на этот раз.

– И что именно?

Из-за плеча Августа светит солнце. Раскаленное добела божество всего сущего. Я приставляю ладонь ко лбу. Никаких сомнений, теперь я уверен.

– «А в конце – мертвый синий крапивник».

Август замирает. Он пристально смотрит на меня. Он похож на меня, но лучше, чем я, – сильнее, красивее, его лицо спокойное – как лицо, которое он видит, когда смотрит в Лунный пруд. Нужно сказать это еще раз.

– А в конце – мертвый синий крапивник.

Август слегка улыбается, качает головой и смотрит на меня, как на сумасшедшего. Как будто я все выдумываю. *Ты всегда выдумываешь, Илай.*

– Да, я видел тебя. Я наблюдал за тобой последние пять минут.

Он широко улыбается, неистово стирая свои слова с неба открытой ладонью. Дрищ тоже широко улыбается и качает головой.

– У этого парня есть ответы, – говорит Дрищ.

– На что? – интересуюсь я.

– На вопросы.

Дрищ дает задний ход, проезжает три метра обратно и тормозит.

– Теперь давай ты.

Дрищ кашляет, поперхнувшись коричневой табачной слюной, и сплевывает ее из водительского окна на нашу обожженную солнцем и растрескавшуюся асфальтовую улицу, бегущую мимо четырнадцати приземистых и широких фибро-домов, нашего и всех прочих, окра-

шенных в кремовые, аквамариновые и небесно-голубые оттенки. Сандакан-стрит, Дарра – мой маленький пригород польских и вьетнамских иммигрантов и иммигрантов Старых Добрых Времен, таких, как мама, Август и я, изгнанных сюда в последние восемь лет, скрывающихся вдали от остального мира, потомков брошенных на произвол судьбы выживших с большого корабля, перевозившего в Австралию человеческие отбросы низшего класса; отделенных от Америки, Европы и Джейн Сеймур океанами и чертовски красивым Большим Барьерным рифом¹, и еще семью тысячами километров Квинслендского побережья, а затем эстакадой, ведущей к Брисбен-сити, и вдобавок – заводом «Квинслендской компании цемента и извести», с которого в ветреные дни на Дарру летит цементная пыль и покрывает небесно-голубые фибровые² стены нашего разлапистого дома, так что Августу и мне приходится мыть их из шланга до того, как пойдет дождь и превратит пыль в цементную корку; и остаются серые потеки, похожие на следы страдальческих слез на фасаде и на большом окне, из которого Лайл выбрасывает окурки, а я – огрызки яблок, потому что всегда следую примеру Лайла; и возможно, я слишком мал и не знаю лучшего, но Лайл во всем лидер, которого стоит придерживаться.

Дарра – это сон, зловоние, протекший мусорный бак, треснувшее зеркало, рай, миска вьетнамского супа с лапшой и креветками, горы крабового мяса, запаянного в пластик, свиные уши, свиные голяшки и свиная брюшина. Дарра – это девочка, прочищающая водосток; мальчик с соплями под носом, хорошими, спелыми соплями, хоть на елку вешай – такие они сверкающие; девушка-подросток, растянувшаяся поперек железнодорожных путей в ожидании экспресса в Центр и в иной мир; южноафриканец, покуривающий суданскую «травку»; филиппинец, вкалывающий себе афганскую «дурь» по соседству с камбоджийкой, потягивающей из пакета молоко с квинслендских ферм Дарлингс-Даунс³. Дарра – это мой тихий вздох, мои мысли на войне, моя тупая предподростковая тоска о чем-то, мой дом.

– Как ты считаешь, когда они вернутся? – спрашиваю я.

– Довольно скоро.

– Что они пошли смотреть?

На Дрище тонкая хлопковая тенниска бронзового цвета, с пуговицами у ворота, заправленная в темно-синие шорты. Он носит эти шорты постоянно и говорит, что у него просто три пары одинаковых шорт и он их меняет, но каждый день я вижу одну и ту же дырку в правом нижнем углу заднего кармана. Синие резиновые ремешки тапок-«вьетнамок» обычно приклеены к его старым мозолистым ногам, покрытым грязью и вонючим потом, но сейчас левый тапок соскальзывает, зацепившись за педаль сцепления, когда Дрищ неловко вылезает из машины. Гудини выбирается из клетки. Гудини попадает ногой в дренажную канаву на западной окраине Брисбена. Но даже Гудини не может сбежать от времени. Дрищ не может сбежать от «MTV». Дрищ не может сбежать от Майкла Джексона. Дрищ не может вырваться из 1980-х.

– «Слова нежности», – отвечает он, открывая пассажирскую дверцу.

Я по-настоящему люблю Дрища, потому что он по-настоящему любит Августа и меня. В молодости Дрищ был жестким и холодным. Он смягчился с возрастом. Дрищ всегда беспокоится об Августе и обо мне, как у нас дела и как мы будем расти. Я так сильно люблю его за попытки убедить нас, что когда мама и Лайл уходят надолго, как в этот раз, – они пошли в кино, а не торгуют на самом деле героином, купленным у вьетнамских рестораторов.

– Это Лайл выбрал такой фильм?

¹ Крупнейший в мире коралловый риф, находящийся в Тихом океане и протянувшийся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км. – *Здесь и далее – примеч. пер.*

² Фибра здесь – это асбесто-цементная плита; их дом дешевый, и к тому же вредный для здоровья. Именно в штате Квинсленд сейчас есть даже законы, запрещающие мыть такие стены из шланга под давлением, чтобы волокна асбеста не вымывались. В современной фибре асбестовые волокна заменены на целлюлозу.

³ Регион на юге штата Квинсленд, где занимаются преимущественно сельским хозяйством.

Я подозреваю, что мама и Лайл наркоторговцы – с тех пор, как пять дней назад нашел пятисотграммовый брикет героина «Золотой треугольник», спрятанный в газонокосилке в нашем сарае на заднем дворе. Я чувствую уверенность, что мама и Лайл продают наркотики, когда Дрищ говорит мне, что они ушли в кино смотреть «Слова нежности».

Дрищ бросает на меня острый взгляд.

– Двигайся, умник, – произносит он уголком рта.

Сцепление. Первая. Держать ногу на педали. Машина прыгает вперед, и мы движемся.

– Поддай немного газу, – говорит Дрищ. Моя босая правая ступня опускается, нога полностью вытягивается, и мы заезжаем на газон, едва успев затормозить у розового куста миссис Дудзински, растущего возле обочины напротив соседской двери.

– Давай обратно на дорогу, – смеется Дрищ.

Руль круто вправо, через водосточный желоб вновь на асфальт Сандакан-стрит.

– Сцепление и на вторую! – рывкает Дрищ.

Теперь мы едем быстрее. Проезжаем дом Фредди Полларда, проскакиваем мимо сестры Фредди, Эви, толкающей вперед по улице игрушечную детскую коляску с безголовой Барби.

– Останавливаться? – спрашиваю я.

Дрищ смотрит в зеркало заднего вида, бросает взгляд в зеркало с пассажирской стороны, наклонив ко мне голову.

– Не, нахер. Давай разок вокруг квартала.

Я перескакиваю на третью, и мы мчимся со скоростью сорок километров в час. И мы свободны. Это перелом. Я и Гудини. Мы сбежали. Два великих специалиста по побегу ушли в отрыв.

– Я ее еду! – кричу я.

Дрищ смеется, и в его старой груди что-то хрипит.

Влево на Сванавендер-стрит, мимо прежнего польского миграционного центра времен Второй мировой войны, в котором мама и папа Лайла провели свои первые дни в Австралии. Еще раз налево на Батчер-стрит, где Фримены держат свою коллекцию экзотических птиц: пронзительно орущего павлина, серого гуся, мускусную утку. Я лечу свободно, как птица. Я еду. Я еду! Налево на Харди, налево обратно на Сандакан.

– Теперь притормаживай, – говорит Дрищ. Я резко бью по тормозам, другая нога соскальзывает со сцепления, и машина глохнет, снова остановившись напротив Августа, который все еще пишет слова в воздухе, погруженный в работу.

– Ты видел меня, Гус? – кричу я. – Ты видел, как я сам вел, Гус?

Он не отводит взгляда от своих слов. Парень даже не заметил, что мы отъезжали.

– Что он там корябает теперь? – интересуется Дрищ.

Опять одни и те же два слова снова и снова. Крупный полумесяц заглавной «С». Пухлая маленькая «а». Тощая маленькая «i» – короткий нисходящий взмах в воздухе и вишенка наверху. Август сидит на заборе в том же месте, где он сидит обычно, рядом с недостающим кирпичом, в двух кирпичах от красного железного почтового ящика.

Август – это потерянный кирпич. Лунный пруд – это мой брат. Август – это Лунный пруд.

– Два слова, – говорю я. – Имя. Начинается с «Си»⁴.

Ее имя для меня будет ассоциироваться с днем, когда я научился водить машину, и – навсегда! – с потерянным кирпичом, и с Лунным прудом, и с «Тойотой-Лэндкрузер» Дрища, и с трещиной в лобовом стекле, и с моей счастливой веснушкой, и все, что касается моего брата Августа, будет напоминать мне о ней.

– Какое имя? – спрашивает Дрищ.

– Кэйтлин.

⁴ В русской транскрипции имя начинается с буквы «Ка».

Кэйтлин. В этом нет никаких сомнений. Кэйтлин. Правый указательный палец и бесконечный небесно-голубой лист бумаги с этим именем на нем.

– Ты знаешь кого-нибудь по имени «Кэйтлин»? – спрашивает Дрищ.

– Нет.

– А какое второе слово?

Я слежу за пальцем Августа, выписывающим кренделя в небе.

– «Шпионит», – говорю я.

– «Кэйтлин шпионит», – говорит Дрищ. – Кэйтлин шпионит. – Он задумчиво затягивается сигаретой. – Что означает эта херня?

Кэйтлин шпионит. Никаких сомнений в этом.

А в конце – мертвый синий крапивник. Мальчик глотает Вселенную. Кэйтлин шпионит. Никаких сомнений на этот счет.

Это ответы.

Ответы на вопросы.

Мальчик создает радугу

Это комната настоящей любви. Это комната крови. Небесно-голубые фибровые стены. Бесцветные пятна-заплатки там, где Лайл замазал дыры. Застеленная кровать «королевского» размера, туго заправленная белая простыня и старое тонкое серое одеяло, которое не было бы неуместным в одном из тех лагерей смерти, от которых бежали мама и папа Лайла. Все люди бегут от чего-то, а особенно от идей.

Изображение Иисуса в рамке над кроватью. Сын Божий в терновом венце, достаточно спокойный, несмотря на всю кровь, стекающую по его лбу, – такой стойкий под издевательствами того парня, – но нахмурившийся, как всегда, потому что мы с Августом не должны находиться здесь. Эта пока еще голубая комната – самое тихое место на земле. Это комната настоящих отношений.

Дриц говорит, что ошибка всех старых английских писателей и всех этих дневных фильмов – в предпосылке, что истинная любовь приходит легко, она ждет где-то на звездах и планетах и вращается вокруг Солнца. Поджидает своей судьбы. Дремлющая настоящая любовь существует для каждого, просто ждет, когда же ее найдут, и взрывается, когда жизненный путь наталкивается на возможность и глаза двух влюбленных встречаются. Бум! Судя по тому, что видел я, – настоящая любовь трудна. В настоящем романе всегда присутствует смерть. Там полночная дрожь и пятна крови на простыне. Настоящая любовь вроде этой – умирает, если ей приходится ждать подходящего случая. Настоящая любовь, подобная этой, – требует у влюбленных отбросить то, что должно быть, и работать с тем, что есть.

Август привел меня сюда, парень хочет мне что-то показать.

– Он убьет нас, если застанет здесь.

В комнату Лины вход запрещен. Комната Лины священна. Только Лайл заходит в комнату Лины. Август пожимает плечами. С фонариком в правой руке он проходит мимо кровати Лины.

– Эта кровать наводит на меня грусть.

Август понимающе кивает. *Мне еще грустнее, Илай. Все это вгоняет меня в тоску еще сильнее. Мои эмоции глубже твоих, Илай, не забывай об этом.*

Кровать просела с одной стороны, принимая на себя половину положенного веса все те восемь лет, когда Лина Орлик спала на ней одна, без уравнивающего веса ее мужа, Аврелия Орлика, который умер от рака простаты на этой же кровати в 1968 году.

Аврелий скончался тихо. Он умер так же тихо, как тиха эта комната.

– Думаешь, Лина сейчас за нами наблюдает?

Август улыбается и пожимает плечами. Лина верила в Бога, но не верила в любовь, по крайней мере в ту, что предначертана звездами. Лина не верила в судьбу, потому что если ее любовь к Аврелию была предопределена, то значит, рождение и вся нечестивая и безумная зрелая жизнь Адольфа Гитлера также были предопределены, поскольку этот монстр, «этот грязный *potwor*»⁵, являлся единственной причиной, по которой они встретились в 1945 году в американском лагере для перемещенных лиц в Германии, где пробыли четыре года – достаточно долго, чтобы Аврелий накопил серебра, которое пошло на обручальное кольцо Лины. Лайл родился в лагере в 1949-м и провел свою первую ночь на Земле в большом железном корыте для стирки, завернутым в серое одеяло – такое же, как здесь, на этой кровати. Америка не приняла бы Лайла, и Великобритания не приняла бы Лайла, но Австралия приняла, и Лайл никогда не забывал об этом – вот почему во время своей безумно растроченной юности он никогда не сжигал и не громил собственность, маркированную меткой «Сделано в Австралии».

⁵ Чудовище, монстр (польск.).

В 1951 году Орлики прибыли в «Вакольский восточный иждивенческий лагерь для содержания перемещенных лиц», который располагался в минуте велосипедной езды от нашего дома. Четыре года они жили среди двух тысяч человек в деревянных бараках, в которых насчитывалось в общей сложности триста сорок комнат, с общими туалетами и банями. Аврелий устроился на работу – укладывать шпалы для новой железнодорожной линии между Даррой и соседними пригородами, Оксли и Кориндой. Лина работала на лесопилке в Йеронгпилли, на юго-западе, разрезая листы фанеры наравне с мужчинами вдвое крупнее и вдвое осторожней себя.

Аврелий построил эту комнату самостоятельно, когда строил весь дом по выходным вместе с польскими друзьями с железной дороги. Первые два года не было электричества. Лина и Аврелий учили английский при свете керосиновой лампы. Дом расширился, комната за комнатой, свая за сваем, пока запахи польской кухни Лины, включающей в себя грибной суп из лесных грибов, *pierogi* с картофелем и сыром, капустные *golabki* и жареную молодую *baranina* не стали распространяться на три спальни, кухню, гостиную, холл, прачечную за кухней, ванную и особую гордость – отдельный туалет со смывным унитазом, над которым на стене висела картинка с варшавской белой трехнефной Кирхой Наисвятейшего Спасителя.

Август останавливается, поворачиваясь к комнатному встроенному гардеробу. Лайл построил этот шкаф сам, используя все те столярно-плотницкие навыки, которые получил, наблюдая, как его отец со своими польскими друзьями собирают дом.

– Что там, Гус?

Август наклоняет голову вправо. *Ты должен открыть дверь гардероба.*

Аврелий Орлик прожил тихую жизнь и был преисполнен решимости умереть тоже тихо, спокойно, с достоинством, а не под звуки кардиомониторов среди суетящегося медицинского персонала. Он не стал бы устраивать сцен. Каждый раз, когда Лина возвращалась в эту комнату смерти с пустым судном или свежим полотенцем, чтобы стереть рвоту мужа с его груди, Аврелий извинялся за то, что создал такую проблему. Его последним словом к Лине было «прости», и он не задержался в этом мире достаточно надолго, чтобы уточнить – за что именно; и Лина могла быть уверена только в том, что он не имел в виду их любовь, поскольку она знала, что в настоящей любви бывают трудности, и терпение, и награды, и неудачи, и новое продолжение, и наконец смерть – но в ней никогда нет места сожалениям.

Я открываю гардероб. Старая гладильная доска стоит вертикально. На полу шкафа – сумка со старой одеждой Лины. Платья Лины висят в ряд, все однотонные: оливковое, светло-коричневое, черное, синее. Лина умерла громко, в неистовой какофонии грохочущей стали и под завывания Фрэнки Валли⁶, возвращаясь с карнавала цветов в Тувумбе, в сумерках на шоссе Уоррего, в восьмидесяти минутах езды от Брисбена – ее «Форд-Кортина» влетел прямо в стальную лобовую решетку фуры, перевозившей ананасы. Лайл находился на юге в реабилитационном центре Кингс-Кросс со своей прежней девушкой, Астрид – во время второй из трех попыток бросить десятилетнюю привычку к героину. Всю последующую встречу с полицейскими из придорожного городка Гаттон, присутствовавшими на месте происшествия, он провел в жажде уколиться. «Она не страдала», – сообщил старший офицер, и Лайл воспринял это как деликатный способ сказать: «Грузовик был охерееенно огромным». Офицер передал ему немногие вещи, которые удалось извлечь из обломков «Кортины»: сумочку Лины, молитвенные четки, маленькую круглую подушку, на которой она сидела, чтобы лучше видеть дорогу над рулем, и чудесным образом уцелевшую кассету, извлеченную из простенькой автомобильной стереосистемы, – альбом «Оглянись назад» Фрэнки Валли и его группы «Четыре сезона». «Черт», – сказал Лайл, вертя в руках кассету и потряхивая головой. «Что?» – спросил офицер.

⁶ Американский певец, обладатель мощного фальцета, фронтмен поп-группы «Четыре сезона».

«Ничего», – ответил Лайл, понимая, что объяснения задержат получение дозы наркоты, требуемой для поправки, и не в силах думать о чем-либо другом. Физическая потребность в наркотиках и прекрасных грезах от них – я однажды слышал, как мама называла это «сиестой» – создавала эмоциональную дамбу, которой предстояло прорваться через неделю, наводнив его мыслями о том, что на Земле больше не осталось ни одного человека, который любил бы его. Той ночью в Дарре, на маленьком диване в подвале своего лучшего друга детства Тадеуша «Тедди» Калласа, он укололся в левую руку и смог наконец подумать о том, как романтична была его мама, как глубоко она любила своего мужа и как высоко парящие ноты Фрэнки Валли заставляли улыбаться каждого человека на Земле, за исключением его матери. Лину Орлик Фрэнки Валли заставлял плакать. В героиновом тумане Лайл вставил кассету «Четыре сезона» в подвальный магнитофон Тедди. Он нажал кнопку воспроизведения, потому что хотел услышать песню, которая играла, когда Лина врезалась в фуру, полную ананасов. Это оказалась песня «Большие девочки не плачут», и в тот момент Лайл вспомнил, так же ясно, как слышал первую высокую ноту Фрэнки Валли, что с Линой Орлик никогда не происходили случайные аварии.

Настоящая любовь трудна.

– Что тут, Гус?

Он подносит палец к губам. Он молча убирает в сторону сумку с одеждой Лины, сдвигает платья Лины на перекладине гардероба. Он нажимает на заднюю стенку шкафа, и лист белой крашеной фанеры, метр за метром, выщелкивается из пазов и падает вперед в руки Августа.

– Что ты делаешь, Гус?

Он скользит фанерным листом по висющим платьям Лины. За шкафом открывается черная пустота, пропасть, пространство неизвестной глубины за задней стеной. Глаза Августа широко распахнуты – он в восторге от надежды и возможностей, которые таит в себе пустота.

– Что это?

Мы познакомились с Лайлом через Астрид, а мама познакомилась с Астрид в женском приюте Сестер милосердия в Нунде, на северной стороне Брисбена. Мы все макали булочки в тушеную говядину – мама, Август и я – в столовой приюта. Мама рассказывает, что Астрид сидела в конце нашего стола. Мне было пять лет, Августу шесть, и он все время указывал на фиолетовый кристалл, вытатуированный под левым глазом Астрид, который выглядел так, будто она плакала кристаллами. Астрид была марроканкой, красивой и вечно молодой, с обнаженным животом кофейного цвета, и всегда такой загадочной и украшенной драгоценностями – что я начал думать о ней как о персонаже из «Тысячи и одной ночи», хранительнице волшебных ламп и кинжалов, ковров-самолетов и скрытых смыслов. Астрид повернулась за обеденным столом и посмотрела Августу в глаза, а Август уставился на нее, улыбаясь так долго, что заставил Астрид обратиться к маме.

– Вы, должно быть, чувствуете себя особенной, – сказала она.

– Почему это? – спросила мама.

– Дух выбрал вас присматривать за ним, – кивнула она на Августа.

«Дух», как мы выяснили позже – было для нее всеобъемлющим понятием для создателя всех живых существ, который иногда посещал Астрид в трех проявлениях: таинственная бестелесная богиня в белых одеяниях, Шарма; египетский фараон по имени Ом Ра; и Эррол, мелкий, пукающий и сквернословящий представитель вселенского зла, который разговаривал, как пьяный ирландец. К счастью для нас, Духу понравился Август, и вскоре Дух каким-то чудесным образом связался с Астрид и сообщил, что ее путь к просветлению включает в себя договоренность о том, чтобы мы остановились на три месяца на террасе дома ее бабушки Зухры в Мэнли, восточном пригороде Брисбена. Мне было всего пять лет, но я все равно сказал, что

это чушь собачья. Однако Мэнли – это место, где во время отлива мальчик может забегать босиком по отмелям Мортон-Бэй так далеко, что способен убедить себя – он бежит к краю Атлантиды, где сможет жить вечно, ну или пока запах трески и чипсов не призовет его домой, поэтому я взял пример с Августа и захлопнул рот.

Лайл приходил в дом Зухры, чтобы повидаться с Астрид. Вскоре он начал приходить в дом Зухры, чтобы поиграть с мамой в «Скрэббл». Лайл не книжный умник, но он уличный умник и читает романы в мягких обложках бесконечно, так что он знает много слов, как и мама. Лайл говорит, что влюбился в маму в тот момент, когда она выложила слово «донкихотский» через квадрат, утраивающий баллы за все слово.

Мамина любовь трудна. В ней была боль, кровь, крики и кулаки, бьющие в фибровые стены, потому что худшим, что Лайл когда-либо делал, было то, что он подсадил мою маму на наркотики. Полагаю, лучшее, что Лайл когда-либо делал – это то, что он избавил ее от наркотиков; но он знает, что я знаю – последнее никогда не сможет восполнить первое. Он отучал ее от наркотиков в этой комнате. Это комната настоящей любви. Это комната крови.

Август включает фонарик и светит в черную пустоту за стеной шкафа. Мертвенно-белый свет освещает маленькую комнату, почти такого же размера, как наша ванная. Луч выхватывает из темноты три стены из бурого кирпича, полость достаточно глубокая, чтобы в ней мог стоять взрослый человек, и напоминает укрытие от радиоактивных осадков, но без припасов и пустое. Пол сделан из земли, в которую врыта эта комната. Фонарик Августа светит в пустом пространстве, пока не находит единственные предметы в комнате. Деревянный стул с мягким круглым сиденьем. И на этом стуле – кнопочный телефон. Телефон красный.

Худший тип наркомана – это тот, кто думает, что он не худший тип наркомана. Мама и Лайл были такими горемыками какое-то время, около четырех лет назад. Это проявлялось не в том, как они выглядели, а в том, как себя вели. Не то чтобы они забыли о моем восьмом дне рождения как таковом, а просто проспали его, вот подобного рода штуки. «Баяны», дырки в венах и прочее дерьмо. Прокрадываешься такой к ним в спальню, будишь их и говоришь, что сегодня Пасха, запрыгиваешь к ним на кровать, как радостный по сезону кролик, – и напарываешься коленной чашечкой на иглу из-под ширева.

Август испек мне оладьи на мой восьмой день рождения и подал их с кленовым сиропом и праздничной свечой именинника, которая была на самом деле просто толстой белой домашней свечкой. Когда мы покончили с оладьями, Август сделал жест, означавший, что поскольку у меня сегодня день рождения, мы можем делать все, что я пожелаю. Я поинтересовался, можем ли мы спалить несколько предметов с помощью моей именинной свечи, начиная с зеленой, как гриб, буханки хлеба, которая валялась в холодильнике сорок три дня – мы с Августом подсчитали.

Август тогда был для меня всем. Мамой, папой, дядей, бабушкой, священником, проповедником, поваром. Он готовил нам завтрак, гладил нашу школьную форму, причесывал меня, помогал с домашним заданием. Он начал прибираться за Лайлом и мамой, когда они спали, – пряча с глаз их пакетики с наркотой и ложки, аккуратней располагая их шприцы, а я всегда стоял за ним и говорил: «К черту все это, пойдем погоняем в футбол». Но Август заботился о маме, словно она была потерявшимся лесным олененком, только учащимся ходить; потому что Август, казалось, знал какой-то секрет обо всем этом, что это всего лишь этап, период жизни мамы, который нам просто приходится пережить. Я думаю, Август верил, что ей необходим этот этап, что она заслужила этот наркотический отдых, этот долгий сон, этот перерыв для ее мозга, перерыв от мыслей о прошлом – от тридцатилетнего слайд-шоу из картин насилия и заброшенности, и домов в спальном районе Сиднея для своенравных девочек с плохими

отцами. Август расчесывал ей волосы, когда она спала, натягивал ей одеяло на грудь, вытирал ей слюни бумажными салфетками. Август всячески опекал ее и выметал меня из комнаты шквалом тычков и затрещин каждый раз, когда я выражал осуждение или отвращение. Потому что я ничего не знал. Потому что никто не знал маму, кроме Августа.

Те мамины годы прошли под песню Дебби Харри «Стеклянное сердце». Люди говорят, что от наркоты выглядишь ужасно, что от героина выпадают волосы, что остаются царапины на лице и запястьях от ваших беспокойных пальцев, и под ногтями постоянно запекшаяся кровь и кусочки содранной кожи. Люди говорят, что ширево вытягивает кальций из ваших зубов и костей и оставляет вас прикованным к дивану, как гниющий труп. И я все это видел. Но я также думал, что наркота делала маму красивой. Она была худой блондинкой с бледно-белой кожей – не такой блондинкой, как Дебби Харри, но такой же хорошенькой. Я считал, что из-за наркоты мама похожа на ангела. На ее лице всегда было застывшее ошеломленное выражение, будто она и здесь, и не здесь, как у Харри в клипе о стеклянном сердце – словно что-то из сна, летящее в пространстве между сном и явью, между жизнью и смертью, но каким-то образом искрящееся, как если бы в зрачках ее сапфировых глаз скрывался постоянно вращающийся зеркальный шар. И помню, я думал, что именно так и будет выглядеть ангел, если окажется в пригороде Дарра, в Юго-Восточном Квинсленде, спустившись с небес. Тот ангел был бы действительно ошеломлен вот так же – озадаченный, прозрачный, взмахивающий крыльями – как она, когда изучала все тарелки, скопившиеся в раковине, все машины, проезжающие мимо дома за дырявыми занавесками.

Золотой паук-кругопряд плетет паутину за окном моей спальни, такую сложную и совершенную, что она похожа на одинокую снежинку, увеличенную в тысячу раз. Кругопряд сидит в центре паутины, похожей на кособокий парашют; застрявший над задачей, которую непременно хочет закончить, сам не зная, зачем – да ему это и не нужно; разозленный, но не сломленный ветром и дождем, и дневными летними штормами, настолько сильными, что от них падают электрические опоры. Мама была пауком-кругопрядом в те годы. И она же была паутиной, и бабочкой тоже, голубой тигровой бабочкой с сапфировыми крыльями, заживо поедаемой пауком.

– Нам лучше убраться отсюда, Гус.

Август передает мне фонарик. Он разворачивается в шкафу и встает на карачки, спуская ноги назад в пустоту комнаты. Он спрыгивает в комнату, и его ноги находят опору. Он снова вскидывает лицо ко мне и, привстав на цыпочки, чтобы быть повыше, кивает на раздвижную дверь шкафа за моей спиной. Я закрываю ее за нами, и мы оказываемся в полной темноте, если не считать света фонарика. Август кивает в пустоту и берет из моих рук фонарик. Я качаю головой.

– Ты рехнулся.

Он снова кивает мне.

– Ты задница.

Он улыбается. Август знает, что я такой же, как он. Август знает, что если кто-то скажет мне, что за дверью свободно разгуливает голодный бенгальский тигр, то я открою дверь, чтобы убедиться, что он не лжет. Я соскальзываю в комнату, и мои босые ноги приземляются на холодную влажную землю пола. Я провожу ладонью по стенам из грязного грубого кирпича.

– Что это за место?

Август стоит, уставившись на красный телефон.

– Что ты там увидел?

Он продолжает смотреть на телефон, взволнованно и отстраненно.

– Гус. Гус!

Он поднимает левый указательный палец. *Подожди секунду.*

И тут телефон звонит. Частые звонки заполняют комнату. Ринг-ринг, ринг-ринг. Август оборачивается ко мне, его ярко-голубые глаза широко распахнуты.

– Не отвечай, Гус!

Он дает ему прозвонить еще три раза, а затем его рука тянется к трубке.

– Гус, не снимай эту долбаную трубку!

Он снимает ее. Подносит к уху. Он уже улыбается, видимо, позабавленный кем-то на другом конце линии.

– Ты что-то слышишь?

Август улыбается.

– Что там? Дай мне послушать.

Я хватаюсь за трубку, но Август отталкивает мою руку, прижимая трубку левым ухом к плечу. Теперь он смеется.

– С тобой кто-то разговаривает?

Он кивает.

– Тебе нужно положить трубку, Гус.

Он отворачивается от меня, внимательно вслушиваясь, спиральный красный шнур обвивает его плечо. Он стоит, повернувшись ко мне спиной, целую минуту, а затем оборачивается с отсутствующим выражением на лице. Он тычет пальцем в меня. *Они хотят поговорить с тобой, Илай.*

– Нет.

Он кивает и передает трубку мне.

– Теперь я уже не хочу, – говорю я, отталкивая трубку.

Август рычит и поднимает брови. *Не будь таким ребенком, Илай.* Затем он швыряет в меня трубкой, и я инстинктивно ловлю ее. Глубокий вздох.

– Алло?

Отвечает мужской голос:

– Алло.

Типаж «настоящий мужик», глубокий сильный голос. Мужчина лет пятидесяти, может, даже шестидесяти.

– Кто это? – спрашиваю я.

– А как ты думаешь, кто это? – отвечает мужчина.

– Я не знаю.

– Ну конечно же, ты знаешь.

– Нет, я действительно не знаю.

– Да знаешь. И всегда знал.

Август улыбается и кивает головой. Кажется, я понимаю, кто это.

– Вы Титус Броз?

– Нет. Я не Титус Броз.

– Вы друг Лайла?

– Да.

– Вы тот человек, который дал Лайлу героин «Золотой Треугольник», найденный мной в газонокосилке?

– А откуда ты знаешь, что это был героин «Золотой Треугольник»?

– Мой друг Дриш читает «Курьер мейл» каждый день. Когда он дочитывает газету, то отдает ее мне. Криминальный отдел пишет статьи о распространении героина из Дарры через Брисбен. Там говорится, что он происходит из главной зоны производства опия в Юго-Восточной Азии, которая включает в себя Бирму, Лаос и Таиланд. Это и есть «Золотой Треугольник».

– А ты знаешь свое дело, малыш. Много читаешь?

– Я все читаю. Дрищ говорит, что чтение – это величайший побег отсюда, а он совершил несколько великих побегов.

– Дрищ – очень мудрый человек.

– Вы знаете Дрища?

– Все знают Гудини из Богго-Роуд.

– Он мой лучший друг.

– Вы лучшие друзья с осужденным убийцей?

– Лайл говорит, что Дрищ не убивал таксиста.

– И это правда?

– Да, это правда. Он считает, что Дрища оговорили. Его закрыли, потому что у него уже была криминальная история. Они так делают, копы, знаете, наверно.

– А сам Дрищ говорил тебе, что он этого не делал?

– Не совсем так, но Лайл говорит, что он ни за что на свете так бы не поступил.

– И ты веришь Лайлу?

– Лайл не лжет.

– Все лгут, малыш.

– Но не Лайл. Он физически не способен на такое. Он твердит это маме постоянно.

– Но ты ведь не веришь в это, правда?

– Он называл это состояние особыми медицинскими словами: «Синдром расторможенного социального поведения» в полном расцвете. Это означает, что он не может скрыть правду. Он не может лгать.

– Я не думаю, что это означает – он не может лгать. Я думаю, это значит, что он не может быть сдержанным.

– Это то же самое.

– Возможно, малыш.

– Я устал от того, что взрослые сдержанные. Никто никогда не рассказывает тебе полной правды.

– Илай?..

– Откуда вы знаете мое имя? Кто вы такой?

– Илай?

– Да-да.

– Ты уверен, что хочешь знать полную правду?

И тут раздается звук открывающейся двери гардероба. Август делает глубокий вдох, и я чувствую, как Лайл заглядывает в пространство за шкафом прежде, чем вижу его.

– Какого хрена вы оба тут делаете? – рывкает он.

Август припадает к земле, и в темноте я вижу только вспышки его фонарика, неистовыми молниями мелькающие на стенах этой маленькой сырой подземной комнаты, пока его руки отчаянно что-то ищут, и он это находит.

– Не смей, сука! – рычит Лайл сквозь стиснутые зубы.

Но Август смеет, сука. Он нащупывает квадратную коричневую металлическую дверцу у основания правой стены, размером с дно большой коробки из-под бананов, откидывающуюся вертикально, как клапан кармана. Бронзовая защелка задвинута в полосу дерева в полу, удерживая дверцу запертой. Август освобождает щеколду, поднимает дверцу и, быстро плюхнувшись на живот, работая локтями, уползает по тоннелю, ведущему из комнаты.

Я ошеломленно поворачиваюсь к Лайлу.

– Что это за место?

Но я не жду ответа. Я бросаю трубку.

– Илай! – кричит Лайл.

Я ныряю на живот и следую за Августом через тоннель. На моем животе грязь. Влажная земля и плотные грунтовые стены вокруг моих плеч, и темнота, за исключением дрожащего белого света фонарика, отражающегося от ладони Августа. У меня есть друг в школе, Дук Кванг, который гостил у бабушки с дедушкой во Вьетнаме, и когда он там был, его семья посетила сеть тоннелей, построенных Вьетконгом. Он рассказывал мне, как страшно ползать по таким тоннелям – душит клаустрофобия, грунт осыпается на твоё лицо и попадает в глаза. Вот такое оно, черт побери, настоящее безумие армии Северного Вьетнама! Дук Кванг говорил, что застыл посреди тоннеля, онемев от страха, и двум туристам, которые ползли за ним, пришлось вытаскивать его оттуда задом наперед. Для меня нет пути назад. Позади в комнате Лайл, и что более важно – раскрытая правая ладонь Лайла, которую, я не сомневаюсь, он разминает сейчас серией сгибаний пальцев и мускульных сокращений, готовясь выбить всю пыль из моей бедной белой задницы. Страх остановил Дука на его пути по тоннелям, но страх перед Лайлом заставляет меня ползти вперед на локтях, я как опытный взрывник-вьетконговец – шесть, семь, восемь метров в темноту. Тоннель делает небольшой левый поворот. Девять метров, десять метров, одиннадцать метров. Здесь жарко, пот от жары и усилий смешивается с грунтом и превращается в грязь на моем лбу. Воздух спертый и плотный.

– Черт, Август, я не могу дышать тут!

И Август останавливается. Его фонарик освещает ещё одну коричневую металлическую дверцу. Он открывает ее, и отвратительное зловоние сероводорода заполняет тоннель и заставляет меня поперхнуться.

– Что это за вонь? Это дерьмо? Мне кажется, это дерьмо, Август!

Август проползает через выход из тоннеля, и я следую за ним резко и быстро, и делаю глубокий вдох, когда вываливаюсь в другое квадратное пространство – меньшее, чем прошлое, но достаточно большое, чтобы мы вдвоем могли встать. Вокруг темнота. Пол снова земляной, однако что-то устилает землю и смягчает мои шаги. Опилки. Тот запах теперь сильнее.

– Это определенно дерьмо, Август. Где мы, черт возьми?

Август смотрит вверх, и я вслед за ним поднимаю глаза к идеальному кругу света прямо над нами, диаметром с обеденную тарелку. Затем в этом круге появляется лицо Лайла, глядящего на нас. Рыжие волосы, веснушки. Лайл – это выросший Джинджер Меггс⁷, всегда в хлопковой майке-безрукавке «Джеки Хоу»⁸ и резиновых шлепанцах, его жилистые мускулистые руки покрыты дешевыми и непродуманными татуировками: орел с младенцем в когтях на правом плече; старый волшебник с посохом на левом – похожий на моего школьного учителя, мистера Хамфриса; Элвис Пресли предгавайского периода трясет коленями на его левом предплечье. У мамы есть книжка с цветными картинками о «Битлз», и мне всегда казалось, что Лайл немного похож на Джона Леннона во времена их дебютного альбома «Please Please Me». Я буду вспоминать Лайла через песни. Лайл – это «Twist and Shout». Лайл – это «Love Me Do». Лайл – это «Do You Want to Know a Secret?».

– Вы оба в большом дерьмище, – говорит Лайл через круглую дырку над нами.

– Че это? – вызывающе откликаюсь я, и мое смущение превращается в гнев.

– Нет, я имею в виду, что вы действительно стоите в дерьме, – поясняет он. – Вы только что выползли в «бомболюк».

Твою мать. «Бомболюк». Заброшенная будка из ржавой жести в конце заднего двора Лины, затянутое паутиной жилище красноспинных пауков⁹ и коричневых змей¹⁰, таких голодных, что вам часто снится, как они кусают вас за задницу. Точка зрения – забавная вещь. Мир

⁷ Рыжий мальчик-хулиган, герой популярного австралийского комикса.

⁸ Фасон, названный в честь известного австралийского стригалия овец и рекордсмена в этом деле, жившего в XIX веке в Квинсленде и придумавшего оторвать тесные рукава от рубашки, мешавшие ему работать.

⁹ Латинское название этого паука – *Latrodectus hasselti*, русское – Австралийская вдова, род черных вдов.

¹⁰ Ложная кобра Гюнтера – ядовитая австралийская змея.

кажется совсем другим, когда смотришь на него с глубины шести футов. Жизнь со дна сортира. Единственный путь отсюда для Августа и Илая Беллов – только наверх.

Лайл снимает толстый деревянный щит с дыркой в нем, который лежит поперек «бомболюка» и служил когда-то туалетным сиденьем, выдерживавшим плюхающиеся зады Лины, Аврелия и всех его товарищей по работе, помогавших строить дом, из какового мы только что чудесным образом выползли через секретный подземный тоннель.

Лайл протягивает правую руку вниз, раскрыв ладонь для захвата.

– Давай, – зовет он.

Я отшатываюсь от его руки.

– Нет, ты хочешь нас выпороть! – говорю я.

– Что ж, я не умею лгать. Да, – отвечает он.

– Нахер нам это надо.

– Завязывай нахер ругаться, Илай! – делает мне Лайл замечание.

– Я никуда не вылезу, пока ты не дашь нам кое-какие ответы! – рявкаю я.

– Не испытывай мое терпение, Илай.

– Вы с мамой снова употребляете.

Кажется, я попал в цель. Лайл поникает головой и качает ею из стороны в сторону. Теперь он мягкий, сострадательный и сожалеющий.

– Мы не употребляем, приятель, – произносит он. – Я обещал вам обоим. Я не нарушаю своих обещаний.

– Кто был тот парень, который говорил по красному телефону? – выпаливаю я.

– Какой парень? – спрашивает Лайл. – О чем ты, черт побери, Илай?

– Телефон зазвонил, и Август снял трубку.

– Илай...

– Тот мужчина, – говорю я. – Низкий голос. Он твой наркобарон, так ведь? Этот человек дал тебе пакет героина, который я нашел в газонокосилке.

– Илай...

– Он крупный руководитель преступного мира, вдохновитель на грязные дела, кукловод, который за всем стоит, важная шишка, и разговаривает так любезно, красиво и скучно, как школьный учитель естествознания, но на самом деле он убийца с манией величия...

– Илай, черт побери! – кричит он.

Я замолкаю. Лайл покачивает головой и вздыхает.

– Тот телефон не принимает звонки, – говорит он. – Твое воображение опять разыгралось, Илай.

Я оборачиваюсь к Августу. Я поворачиваюсь обратно к Лайлу.

– Он звонил, Лайл. Август поднял трубку. На другом конце провода был мужчина. Он знал мое имя. Он знал нас всех. Он знал Дрища. Сперва я подумал, что это ты, но потом...

– Достаточно, Илай, – обрывает меня Лайл. – Чья это была идея – зайти в комнату Лины?

Август тычет себя в грудь большим пальцем. Лайл кивает:

– Ладно, принято. А теперь вылезайте и получите то, что вам причитается, а когда все немного успокоится, я расскажу вам некоторые новости, которые у нас происходят.

– Нахер это, – говорю я. – Мне нужны ответы сейчас.

Лайл ставит деревянное сиденье туалета на место.

– Дай мне знать, когда к тебе снова вернутся хорошие манеры, Илай, – сообщает он и уходит прочь.

Четыре года назад я подумал, что он собирается уйти навсегда. Он стоял возле входной двери с вещмешком, перекинутым через правое плечо. Я вцепился ему в левую руку и откинулся назад, удерживая его всем своим весом, а он потащил меня за собой к выходу.

– Нет, – упрасивал я. – Не уходи, Лайл.

Слезы текли у меня из глаз, заливая и нос, и рот.

– Мне нужно привести себя в порядок, приятель, – сказал он. – Август присмотрит за твоей мамой вместо меня. А ты должен присматривать за Августом, хорошо?

– Нет! – взвыл я. Он повернул голову, и мне показалось, что я смогу остановить его, потому что глаза его были мокрыми, хотя он никогда не плачет. – Нет!

Но затем он прикрикнул на меня: «Пусти меня, Илай!» – и толкнул обратно через дверь, и я упал на линолеумный пол на передней веранде, ободрав кожу с локтей.

– Я люблю тебя, – сказал он. – Я вернусь.

– Ты врешь! – выкрикнул я.

– Я не умею лгать, Илай.

Потом он вышел через переднюю дверь и пошел по дорожке к калитке и дальше, мимо кованого почтового ящика и коричневого кирпичного забора с одним недостающим кирпичом. Я бежал за ним до самой калитки и кричал так громко, что охрип.

– Ты врешь! – кричал я. – Ты врешь! Ты врешь! Ты врешь!

Однако он даже не оглянулся. Он просто продолжал идти.

Но затем он вернулся. Шесть месяцев спустя. Стоял январь, было жарко, и я торчал в переднем дворе – без рубашки, загорелый, зажав большим пальцем садовый шланг, направив к солнцу дугообразную струю, чтобы создать собственную радугу, – и увидел, как он проходит через стену воды. Он открыл переднюю калитку и закрыл ее за собой, а я бросил шланг и побежал к нему. На нем были темно-синие рабочие штаны и темно-синяя джинсовая рабочая рубашка, заляпанная машинным маслом. Лайл выглядел сильным и крепким, и когда он привстал на колено, чтобы быть вровень со мной на дорожке – я подумал, что так он похож на короля Артура и что я никогда за всю свою короткую жизнь не любил другого мужчину больше, чем его. Так что радуги – это Лайл, и пятна смазки – это Лайл, и король Артур – это Лайл. Я бросился на него с такой силой, что он чуть не опрокинулся на спину от моего наскока, потому что я ударил его, как Рэй Прайс, несокрушимый стальной нападающий рвущихся к победе «Параматта Илз». Он засмеялся, и когда я вцепился пальцами в его плечи, чтобы притянуть ближе, – он уткнул лицо в мои волосы и поцеловал меня в макушку; и не знаю, почему я сказал то, что сказал дальше, но все равно сказал это:

– Папа...

Он слегка улыбнулся и выпрямил меня, положив мне руки на плечи, глядя мне в глаза.

– У тебя уже есть отец, приятель, – произнес он. – Но у тебя есть и я.

Через пять дней мама оказалась заперта в комнате Лины и барабанила кулаками по тонким фибровым стенам. Лайл заколотил крест-накрест деревянными досками оба окна в комнате. Он вытащил оттуда старую кровать Лины и снял со стены картину с Иисусом, вынес старые вазы Лины и рамки с фотографиями дальних родственников и близких друзей по клубу любителей игры в шары. В комнате не осталось ничего, кроме тонкого матраса без каких-либо простыней, одеял и подушек. Семь дней Лайл держал маму взаперти в этой небесно-голубой комнате. Лайл, Август и я стояли перед закрытой дверью, слушая мамины крики, долгие и внезапные, как завывание сирены воздушной тревоги, словно за этой дверью находился великий инквизитор, следивший за некоторым разнообразием пыток, включающих систему шкивов, растягивающих мамины конечности. Но я точно знал, что в комнате, кроме нее, никого нет. Она выла во время обеда, она стонала в полночь. Джин Кримминс, наш ближайший сосед справа, симпатичный почтальон на пенсии, всегда имевший под рукой тысячу историй о почте, направленной не по назначению, и о разных случаях на пригородных обочинах, приходил проверить, что происходит.

– Она почти здесь, приятель, – вот и все, что сказал ему Лайл через дверь. И Джин просто кивнул, как будто точно знал, о чем толкует Лайл. Как будто знал, что такое быть тактичным.

На пятый день мама выбрала меня, так как знала, что я самый слабый.

– Илай! – крикнула она через дверь. – Он пытается убить меня! Тебе нужно позвонить в полицию. Позвони им, Илай. Он хочет меня убить.

Я подбежал к нашему телефону и начал набирать три нуля на медленно вращающемся диске, пока Август не нажал мягко пальцем на рычаг. Он покачал головой. *Нет, Илай.*

Я заплакал, а Август нежно обнял меня за шею, и мы пошли обратно по коридору. И снова стояли, не сводя глаз с двери. Я заплакал сильнее. Затем прошел в гостиную и открыл раздвижные нижние дверцы «стенки», отделанной шпоном «под дерево», где хранились мамины виниловые пластинки. Альбом «Between the Buttons» группы «Роллинг Стоунз». Тот, который она крутила так много раз; с обложкой, где они стоят в зимних пальто, а Кит Ричардс получился размыто, как будто ступил на полшага во временной портал, который перенесет его в будущее.

«Эй, Илай, поставь песню “Рубиновый вторник!”» – постоянно просила мама.

«Которую из них?»

«Первая сторона, третья толстая линия от края», – всегда говорила мама.

Я отключил проигрыватель от розетки, протащил его по коридору и снова подключил рядом с дверью в комнату Лины. Опустил иглу на третью толстую линию с краю. Эта песня – о девушке, которая никогда не говорила, откуда она. Песня разнеслась по дому, и мамины рыдания эхом отозвались за дверью.

– Поставь еще раз, Илай, – сказала мама.

На седьмой день, к закату, Лайл открыл замок. Через две или три минуты дверь спальни Лины со скрипом отворилась. Мама выглядела худой, изможденной, двигалась медленно и пошатывалась, словно ее кости держались вместе, связанные веревками. Она попыталась что-то сказать, но ее губы, рот и горло были такими сухими, а тело настолько измученным, что она не могла выдавить из себя ни слова.

– Об... – начала она.

Облизнула губы и попробовала снова.

– Об... – пыталась она.

Мама закрыла глаза, словно собиралась упасть в обморок от слабости. Мы с Августом наблюдали и ждали какого-то знака, что она снова здесь, что она вернулась; знака, что она пробудилась от своего великого сна, и я думаю, таким знаком стало то, как она упала в руки Лайла, а затем соскользнула на пол, цепляясь за человека, который спасал ей жизнь, и глядя на взволнованных мальчиков, которые верили, что он может это сделать. Мы обступили ее вокруг – она была похожа на упавшую птицу. И в укрытии из наших тел она прошептала два слова.

– Обнимите меня... – прошептала она.

И мы все обняли ее так крепко, что могли бы слиться в скалу, если бы простояли так достаточно долго. Превратиться в алмаз.

Затем мама, шатаясь и цепляясь за Лайла, добралась до их спальни. Лайл закрыл за ними дверь. Мы с Августом тут же тихо вошли в комнату Лины, словно осторожно ступали по минному полю где-то в северовьетнамских джунглях, на родине дедушки и бабушки Дука Кванга. На полу среди ключев волос валялись бумажные тарелки и объедки. В углу комнаты стоял ночной горшок. Небесно-голубые стены оказались покрыты небольшими дырами размером с мамины кулаки, и от этих дыр стекали полоски засохшей крови, словно рваные красные флаги, развевающиеся над полем битвы. Длинная коричневая полоса из засохшего дерьма, похожая на грунтовую дорогу в никуда, тянулась вдоль двух стен. И какой бы ни была битва, которую мама вела в этой маленькой спальне, мы знали – она только что выиграла ее.

Мою маму зовут Фрэнсис Белл.

Август и я молча стоим в яме. Проходит целая минута. Август в отчаянии сильно толкает меня в грудь.

– Прости, – говорю я.

Еще две минуты проходят в молчании.

– Спасибо, что принял удар на себя. Насчет того, чья это была идея.

Август пожимает плечами. Проходят следующие две минуты, и вонь совместно с жарой в этой выгребной яме терзают мою шею, мой нос и мое сознание. Мы смотрим в круг света, через дырку в деревяшке для задниц Лины и Аврелия Орликов.

– Думаешь, он вернется?

Мальчик берет след

Пробуждение. Темнота. Лунный свет из окна спальни отражается от лица Августа. Он сидит возле моей нижней койки, вытирая мне пот со лба.

– Я тебя опять разбудил? – спрашиваю я.

Он слегка улыбается и кивает. *Да, но это ладно.*

– Опять тот же сон.

Август кивает. *Я так и подумал.*

– Волшебная машина.

Сон о волшебной машине, в котором мы с Августом сидим на коричневом виниловом заднем сиденье автомобиля «Холден Кингсвуд»¹¹ того же цвета, что и небесно-голубые стены в спальне Лины. Мы играем в «уголки» – кто кого зажмет в угол; пихаем друг друга и хохочем так сильно, что едва не писаем в штаны, а человек за рулем резко подает то влево, то вправо, въезжая в крутые повороты. Я опускаю окно со своей стороны, и ураганный ветер сносит меня вдоль сиденья прямо на Августа, прижимая его к противоположной двери. Я изо всех сил сопротивляюсь ветру, дующему в окно, высовываю голову и делаю открытие – мы летим по небу, а водитель этого таинственного транспортного средства ныряет и петляет через облака. Я поднимаю окно обратно, и все снаружи становится серым. Серость повсюду. «Просто дождевая туча», – говорит Август. Потому что в этом сне он разговаривает.

Потом за окном машины все становится серо-зеленым. Все снаружи серо-зеленое и мокрое. Затем стая лещей проплывает мимо моего окна, а машина проезжает заросли колышущихся морских папоротников. Мы едем не через дождевую тучу. Мы едем по дну океана. Водитель оборачивается, и я вижу, что это мой отец.

«Закройте глаза!» – говорит он.

Моего отца зовут Роберт Белл.

– Я умираю с голоду.

Август кивает. Лайл не задал нам трепку за то, что мы нашли его тайную комнату. Я жалею, что он так не сделал. Молчание еще хуже. Молчание и взгляды, полные разочарования. Я бы охотнее получил десять шлепков открытой ладонью по заднице, чем то чувство, что я становлюсь старше, слишком взрослым для шлепков по заднице и слишком старым для того, чтобы прокрадываться в тайные комнаты, о которых мне не положено было узнать; слишком старым, чтобы кричать о найденных пакетах с наркотиками в газонокосилках. Лайл вытащил нас из «бомболока» после обеда, в молчании. Ему не пришлось говорить нам, куда идти. Мы отправились в нашу спальню из обыкновенного чувства здравого смысла. Ярость исходила от Лайла, как запах скверного одеколона. Наша комната была самым безопасным местом, наше тесное святилище, украшенное одиноким, давно выцветшим рекламным плакатом «Макдоналдса», демонстрирующим командные фото с однодневных соревнований по крикету на Кубок мира Бенсона и Хеджеса сезона 1982–1983 года между Австралией, Англией и Новой Зеландией; с пририсованным членом и яйцами, которые Август в качестве особой награды добавил на лоб Дэвида Гувера, стоящего в первом ряду «помми»¹². Мы не получили ужин. Нам не сказали ни единого слова, так что мы просто отправились спать.

– Черт побери, я хочу что-нибудь поесть, – говорю я пару часов спустя.

На цыпочках в темноте я иду по коридору на кухню. Открываю холодильник, и из него льется свет. Тут есть начатая пачка ветчины для завтрака в пластиковой упаковке и банка

¹¹ Марка машины, производившаяся в Австралии концерном «Дженерал моторс».

¹² Пом, помми (Pom, pommy, pommie) – ироническое прозвище англичан в Австралии и Новой Зеландии.

бутербродного маргарина. Я закрываю дверь холодильника, разворачиваюсь к кладовке и натыкаюсь на Августа, уже раскладывающего четыре ломтя хлеба на разделочную доску на столе. Бутерброды с ветчиной и томатным соусом. Август пробирается к переднему окну в гостиной, чтобы взглянуть на луну. Он доходит до окна и тут же пригибается в паническом усилии не попасться кому-то на глаза.

– Что такое? – спрашиваю я. Он машет мне правой рукой, чтобы я присел. Я ныряю вниз и присоединяюсь к нему под окном. Он кивает вверх, поднимает брови. *Выгляни. Только без резких движений.* Я осторожно выглядываю над краем окна и осматриваю улицу. Уже за полночь. Лайл стоит снаружи на тротуаре, прислонившись к кирпичному забору у почтового ящика и покуривая свой красный «Уинфилд».

– Что он там делает?

Август пожимает плечами и тоже выглядывает рядом со мной, озадаченный. Лайл одет в свою плотную охотничью куртку, толстый шерстяной воротник поднят, защищая его шею от полуночного холода. Он выпускает сигаретный дым, который расплывается в темноте, похожий на серого призрака. Мы оба снова ныряем вниз и впиваемся в наши бутерброды. Август капают томатным соусом на ковер под окном.

– Соус, Гус! – показываю я.

Нам теперь ничего не разрешают есть над этим ковром, потому что Лайл и мама больше не употребляют наркотики и ухаживают за домом. Август убирает капли с ковра большим и указательным пальцами, а затем слизывает с них остатки красного соуса. Он плюет на красное пятно, оставшееся на ковре, и втирает его в ворс, но недостаточно для того, чтобы мама не заметила.

И тут громкий хлопок эхом прокатывается по нашему пригороду.

Мы с Августом моментально вскакиваем и выглядываем в окно. В ночном небе, примерно за квартал отсюда, пурпурный фейерверк со свистом взлетает в темноте над пригородными домами, быстро поднимаясь по спирали и шипя, прежде чем достичь максимальной высоты и разорваться на десять или около того фейерверков поменьше – как раскрывшийся зонт, превращающийся в недолгий ярко-фиолетовый небесный фонтан.

Лайл смотрит на вспышки фейерверка, затем делает еще одну длинную затяжку «Уинфилдом», бросает окурочку под ноги и затаптывает подошвой правого башмака. Он засовывает руки в карманы охотничьей куртки и направляется по улице в сторону фейерверка.

– Давай, пошли! – шепчу я.

Я запикиваю в рот остатки бутерброда с ветчиной и томатным соусом. Это, наверно, выглядит со стороны так, будто я пытаюсь прожевать два бильярдных шара. Август остается под окном, доедая свой бутерброд.

– Давай, Гус, пошли же! – повторяю я.

Но он по-прежнему сидит там, размышляя, как всегда, вычисляя что-то, как всегда, взвешивая все варианты, как всегда. Он трясет головой.

– Да ладно, неужели ты не хочешь знать, куда он идет?

Август слегка улыбается. Его правый указательный палец, который он только что использовал, чтобы подтереть капли соуса, рассекает воздух, вырисовывая невидимые очертания двух слов.

Уже знаю.

Я слежу за людьми годами. Ключевыми элементами успешной слежки являются дистанция и вера. Дистанция – достаточная, чтобы объект ничего не заметил. Вера – достаточная, чтобы убедить себя, что на самом деле вы не следите за объектом, даже если это так. Вера означает невидимость. Просто еще один невидимый незнакомец в мире невидимых незнакомцев.

Снаружи холодно. Я даю Лайлу хорошую пятидесятиметровую фору. И только уже проходя мимо почтового ящика, понимаю, что я босой и в одной зимней пижаме с большой дыркой на правом полужопии. Лайл идет быстро, держа руки в карманах, погружаясь в темноту за уличными фонарями, которые выстроились у входа в Дьюси-стрит-парк через дорогу от нашего дома. Лайл превращается в тень, пересекает крикетную площадку в центре черного овала, взбирается на холм, направляясь к детской площадке и общественному барбекю, на котором мы жарили сосиски на тринадцатый день рождения Августа в прошлом марте. Я мягко крадусь через овал травы, как призрак, скользкий по воздуху. Тихий ниндзя, быстрый ниндзя. Хрусть! Тонкая сухая ветка ломается под моей босой правой ногой. Лайл останавливается под фонарем на другой стороне парка. Он оборачивается и смотрит назад в темноту, скрывающую меня. Он смотрит прямо на меня, но не видит, потому что я выдерживаю дистанцию и верю. Верю, что я невидимый. И для Лайла это так и есть. Он отворачивается от парка и идет дальше, опустив голову, вдоль Стратхеден-стрит. Я жду, пока он не повернет направо на Харрингтон-стрит, прежде чем выбегаю из темного парка под стратхеденские уличные фонари. Раскидистое манговое дерево на углу Стратхедена и Харрингтона обеспечивает визуальную защиту, необходимую мне, чтобы наблюдать за Лайлом. Я вижу его ясно, как днем, поворачивающего налево на Аркадия-стрит и на подъездную дорожку к дому Даррена Данга.

Даррен Данг учится в моем классе. Нас, семиклассников, в Государственной школе Дарры всего восемнадцать, и мы все согласны, что симпатичный вьетнамоавстралиец Даррен Данг быстрее всех из нас станет знаменитым, и скорее всего за то, что расстреляет нас прямо в классе из крупнокалиберного пулемета. В прошлом месяце, когда мы работали над моделями Первого Флота, делая британские корабли из деревянных палочек для мороженого, Даррен прошел мимо моего стола.

– Эй, Тинк! – шепнул он.

Илай Белл – Тинкербелл¹³ – Тинк.

– Эй, Тинк! У бутылочных ящиков. В обед.

Это переводилось так: «Тебе лучше подойти к большим желтым металлическим контейнерам для утилизации бутылок за сараем для инструментов садовника мистера Маккиннона в обеденное время, если ты заинтересован в продолжении своего скромного образования в Квинслендской государственной школе с обоими ушами». Я прождал полчаса у бутылочных ящиков и уже думал с ложной надеждой, что Даррен Данг может не прийти на наше импровизированное randevu, когда он подкрался ко мне сзади и ухватил за шею большим и указательным пальцами правой руки.

– Если ты видел ниндзя, то ты видишь призраков, – прошепел он.

Это фраза из фильма «Октагон». Два месяца назад, во время урока физкультуры, я сказал Даррену Дангу, что, как и он, считаю кино с Чаком Норрисом о секретном тренировочном лагере для ниндзя-террористов лучшим фильмом в истории. Я солгал. «Трон» – вот лучший фильм, когда-либо снятый.

– Ха! – гоготнул Эрик Войт, подручный Даррена, похожий на куклу-неваляшку – пустоголовый толстый коротышка из семьи таких же пустоголовых коротышек-механиков, заправляющих в Дарре мастерской автомобильных трансмиссий и тонировки стекол через дорогу от кирпичного завода. – Наша феечка Тинкербелл просто нагадилась в свои волшебные штанишки!

– Обгадилась, – поправил я. – Правильно говорить – обгадилась в штанишки, Эрик. Ну или уж тогда – нагадила.

¹³ Тинкербелл – Звонящий Колокольчик, имя феи. Тинк – значит «Динь».

Даррен повернулся к ящикам и порылся руками в коллекции пустых бутылок из-под спиртного мистера Маккиннона.

– Сколько же бухает этот парень? – удивился он, выуживая бутылку из-под «Черного Дугласа» и высасывая полрюмки жидкости, оставшейся на дне. Он повторил то же самое с маленькой бутылочкой «Джека Дэниелса», а затем с бутылкой бурбона «Джим Бим».

– Будешь? – спросил он, предлагая мне остатки зеленого имбирного вина «Стоунз».

– Мне и так зашибись, – ответил я. – Зачем ты хотел со мной встретиться?

Даррен улыбнулся и снял большую холщовую спортивную сумку со своего правого плеча. И сунул в нее руку.

– Закрой глаза, – сказал Даррен.

Такие просьбы от Даррена Данга всегда заканчиваются слезами или кровью. Но, как и в школе, если вы начали иметь дело с Дарреном Дангом, то нет никакого реалистичного способа избежать Даррена Данга.

– Зачем? – спросил я.

Эрик сильно толкнул меня в грудь:

– Просто закрой глаза, Белл-мудозвон!

Я зажмурился и инстинктивно прикрыл руками яйца.

– Открывай, – сказал Даррен.

И я открыл глаза, чтобы увидеть крупным планом большую бурую крысу. Ее два передних зуба нервно дрожали и ходили ходуном вверх и вниз, как отбойный молоток.

– Черт возьми, Даррен! – вскрикнул я.

Даррен и Эрик покатались со смеху.

– Нашел его в кладовой, – сказал Даррен.

Мама Даррена Данга, Бич Данг по прозвищу «Отвали-Сука», и его отчим, Кван Нгуен, держат супермаркет «Маленький Сайгон – Большая Свежесть» в конце Дарра-Стейшен-роуд – универсальный магазин с вьетнамскими импортными овощами, фруктами, специями, мясом и цельной свежей рыбой. Кладовка в задней части супермаркета, рядом с ларем для мяса, на радость Даррена является домом для самой древней и наиболее упитанной династии бурых крыс во всем юго-восточном Квинсленде.

– Подержи его секунду, – сказал Даррен, всовывая крысу в мои сопротивляющиеся руки. Крыса дрожала в моих ладонях, вялая от страха.

– Это Джабба, – добавил Даррен, вновь потянувшись в сумку. – Хватай его за хвост.

Я нерешительно взялся за крысиный хвост двумя пальцами.

Даррен вытащил из спортивной сумки мачете.

– Это что еще за хрень?

– Дедушкино мачете.

Мачете выглядело длиннее, чем правая рука Даррена. У него была коричневая деревянная ручка и большое широкое лезвие, заржавленное с боковых сторон, но смазанное маслом, серебристое и блестящее на режущей кромке.

– Нет, ты должен реально хорошенько ухватить его за хвост, иначе упустишь, – сказал Даррен. – По-настоящему сожми его кулаком.

– Держи его крепко, как свой член, Белл-мудозвон, а не то он улетит! – хохотнул Эрик. Я крепко сжал хвост кулаком.

Даррен вытащил из сумки красную тряпку, похожую на большой шейный платок.

– Хорошо, теперь положи его на септик, но не отпускай, – сказал он.

– Может, Эрик подержит его? – спросил я.

– Его будешь держать ты, – ответил Даррен, и что-то мелькнуло в его глазах, что-то непредсказуемое.

Возле ящиков для бутылок находился бетонный подземный отстойник с тяжелой красной металлической крышкой. Я осторожно положил Джаббу на крышку, правой рукой сжимая его хвост.

– Не шевелись, Тинк, – велел Даррен.

Он свернул платок в повязку и завязал себе глаза, опустившись на колени, как японский воин, собирающийся вонзить клинок в свое сердце.

– Ох, Даррен, ради всего святого, не надо, серьезно, – сказал я.

– Не двигайся, Тинк! – рявкнул Эрик, стоя надо мной.

– Не волнуйся, я уже делал это дважды, – сообщил Даррен.

Джабба, бедная тупая крыса, был таким же застывшим от страха и кротким, как я. Он повернулся ко мне, стуча зубами, растерянный и испуганный.

Даррен ухватился за рукоятку мачете обеими руками и поднял его над головой медленно и методично. Внушительное отточенное лезвие инструмента на мгновение сверкнуло под солнцем, освещавшем эту адскую сцену.

– погоди, Даррен, так ты отрубишь мне руку, – заикнулся было я.

– Чушь собачья! – сказал Эрик. – В нем кровь ниндзя. Он лучше видит твою руку у себя в голове, чем своими настоящими глазами.

Эрик на всякий случай положил мне ладонь на плечо, чтобы удержать на месте.

– Просто не делай никаких гребаных движений! – сказал он.

Даррен глубоко вдохнул. Выдохнул. Я бросил последний взгляд на Джаббу – его тело сжежилось от страха, он был неподвижен, как будто думал, что если просто замрет, то мы забудем о его присутствии.

Мачете Даррена опустилось с быстрым и яростным свистом, и сверкающее смазанное лезвие лязгнуло по крышке септика, выбив короткую желтую искру в сантиметре от моего сжатого кулака.

Даррен с триумфом стянул повязку, чтобы посмотреть на окровавленные останки крысы Джаббы. Но смотреть было не на что. Джабба исчез.

– Какого хрена, Тинк? – Его вьетнамский акцент стал более заметен в гневе.

– Он позволил ему сбежать! – крикнул Эрик. – Он отпустил его!

Эрик обхватил меня рукой вокруг шеи, его грязная подмышка воняла, как старое болото. Я заметил Джаббу, спешащего к свободе через щель под сетчатым школьным забором прямо в густой кустарник, растущий вдоль сарая мистера Маккиннона.

– Ты обесчестил меня, Тинк, – прошептал Даррен.

Эрик навалился всем весом своего пуза на мою спину, заставив распластаться на отстойнике.

– Кровь за кровь! – пропыхтел он.

– Ты знаешь кодекс воина, – произнес Даррен официальным тоном.

– Нет, на самом деле я не знаю кодекса, – сказал я. – И к тому же я считаю, что древний кодекс позволял более свободную трактовку, чем все прочие.

– Кровь за кровь, Илай Белл, – продолжал Даррен. – Когда река мужества иссякает, на ее месте течет кровь. – Он кивнул Эрику: – Палец.

Эрик вывернул мою правую руку назад и прижал к отстойнику.

– Черт, Даррен! – заорал я. – Задумайся хоть на секунду! Тебя исключат из школы!

Эрик отогнул мой указательный палец из стиснутого кулака.

– Даррен, подумай о том, что ты делаешь! – взмолился я. – Тебя посадят в тюрьму для несовершеннолетних.

– Я давно принял свой путь, Илай Белл. А как насчет тебя?

Даррен снова натянул повязку на глаза и поднял мачете двумя руками высоко над головой. Эрик выкрутил мне запястье до предела и сильно толкнул вниз, прижимая мой вытяну-

тый незащищенный палец к крышке септика. Я закричал от боли под его весом. Мой палец был крысой. Мой палец был крысой, которая мечтала скрыться. Мой правый указательный палец, тот, со счастливой веснушкой на среднем суставе. Моя счастливая веснушка. Мой счастливый палец. Я скосил глаза на эту счастливую веснушку и молился, молился за удачу. И именно в этот момент мистер Маккиннон, вечно пьяный семидесятилетний ирландский садовник, любитель шотландского виски, вывернул из-за угла своего сарая для инвентаря и встал, недоумевая от открывшейся ему сцены – вьетнамский мальчик с красной повязкой на глазах собирается принести в жертву указательный палец со счастливой веснушкой другого мальчика, прижатого к крышке септика.

– Что, черт возьми, тут происходит? – рявкнул мистер Маккиннон.

– Сматываемся! – завопил Эрик.

Даррен удрал поистине невидимо, со скоростью реакции своего любимого ниндзя. Эрик замешкался, поднимая свой бурдюкообразный жирный живот с моего левого плеча, но все же увернулся от тисков толстой быстрой левой руки мистера Маккиннона, которая в итоге вцепилась в задний карман моих темно-бордовых хлопковых школьных шорт, сделав меня похожим на Хитрого Койота из мультика, бегущего в воздухе на одном месте, когда я тоже предпринял бесполезную попытку убраться подальше.

– Куда это ты собрался? – поинтересовался мистер Маккиннон, дохнув на меня перегаром «Черного Дугласа».

А теперь я, пригнувшись, подкрадываюсь к забору семейства Данг, сделанному из высоких коричневых деревянных кольев с заостренными концами. Лайл идет к дому Даррена Данга по длинной подъездной дорожке. Дом Даррена Данга – один из самых больших в Дарре. Три тысячи желтых кирпичей, купленных за полцены напрямую с Даррского кирпичного завода, сложены в трехэтажный дом, амбициозно задуманный как итальянский особняк, но в реальности представляющий собой обычную пригородную безвкусицу. Передняя лужайка размером с половину футбольного поля, и на ней растет штук пятьдесят высоких пальм. Я быстро проскальзываю по длинной бетонной дорожке, а затем ныряю вправо между пальмами на лужайке, чтобы остаться незамеченным. Ближе к дому расположен батут, окруженный пластиковыми замками принцесс, принадлежащими трем младшим сестрам Даррена: Кайли Данг, Карен Данг и Сэнди Данг. Я перебегаю к батуту и прячусь за самым большим замком – розовым пластмассовым сказочным королевством с коричневым разводным мостом, сделанным в виде детской горки; со стенами, достаточно большими, чтобы я мог спрятаться за ними и наблюдать через раздвижные стеклянные двери за Лайлом, сидящим с мамой Даррена и его отчимом, Бич и Кваном, в гостиной.

«Отвали-Сука» Данг заработала свое прозвище актами невероятной жестокости. Помимо супермаркета «Маленький Сайгон» она владеет большим рестораном вьетнамской кухни и парикмахерской по соседству, в которой я стригусь, напротив железнодорожной станции Дарры. Кван Нгуен – скорее ее верный покорный слуга, чем муж. Бич знаменита в нашем городе как своим самоотверженным спонсорством общественных мероприятий Дарры – танцев, дней Исторического общества, сборов денежных средств на блошиных рынках, – так и тем, что в свое время ударила девочку из пятого класса школы Дарры, Шерил Варди, в левый глаз стальной линейкой, потому что та дразнила Карен Данг за то, что Карен каждый день берет пропаренный рис на школьный обед. Шерил Варди после того случая потребовалась операция. Она едва не ослепла, и я так и не понял, почему Бич Данг не попала в тюрьму. Тогда-то я и уяснил, что в Дарре есть собственные правила, законы и кодексы, и, возможно, «Отвали-Сука» Данг просто так же самоотверженно претворяла их в жизнь. Никто не знает, что случилось с ее первым мужем, отцом Даррена, Лю Дангом. Он исчез шесть лет назад. Все говорят, что Бич

отравила его, закатав ему мышьяк в роллы из рисовой бумаги со свиной и креветками, но я не удивлюсь, если окажется, что она всадила ему в сердце стальную линейку.

Бич одета в светло-лиловый халат, ее лицо человека, разменявшего шестой десяток, подкрашено даже в такой поздний час. Все вьетнамские матери семейств в Дарре выглядят одинаково: длинные черные волосы стянуты в пучок так туго, что от них могут отражаться лучи света; белая пудровая основа на щеках и длинные черные ресницы, которые придают им испуганный вид.

Бич сложила ладони вместе, опираясь локтями на колени, и дает инструкции, время от времени покачивая указательным пальцем, как великий тренер «Параматта Илз» Джек Гибсон обычно инструктировал свои основные «мозги» на поле – Рэя Прайса и Питера Стерлинга – из-за боковой линии. Бич кивает, соглашаясь с чем-то сказанным Лайлом, а затем указывает на что-то своему мужу, Квану. Она куда-то его отправляет, тот послушно кивает, вразвалку уходит из поля зрения и возвращается с большой прямоугольной пластиковой коробкой для льда, такой же, в которых Данги держат всю свежую рыбу в супермаркете «Маленький Сайгон». Кван ставит коробку к ногам Лайла.

А затем острый и холодный клинок прижимается к моей шее.

– Динь-динь, Илай Белл.

Смех Даррена Данга эхом разносится среди пальм.

– Боже, Тинк, – говорит он. – Если ты пытаешься остаться невидимкой, может, тебе стоит задуматься о том, чтобы сменить свою старую пижаму? Я видел эту бледную австралийскую задницу на всем пути от нашего почтового ящика.

– Хороший совет, Даррен.

Лезвие длинное и тонкое, и оно сильно давит мне на шею сбоку.

– Это самурайский меч? – спрашиваю я.

– О, да-а, – говорит Даррен с гордостью. – Я купил его в ломбарде. Точил сегодня шесть часов подряд. Думаю, я смог бы снести тебе голову одним ударом. Хочешь посмотреть?

– И как же я увижу это без головы?

– Твой мозг будет все еще работать даже после того, как ее отрубят. Это вышло бы круто. Твои глаза смотрят с земли, а я машу тебе ручкой и держу твое безголовое тело. Черт. Какой забавный способ проветрить мозги.

– Ага, я просто голову теряю от смеха. Ну ничего себе, сходил за хлебушком!

Даррен ржет.

– Хорошая шутка, Тинк, – говорит он. Затем за секунду становится серьезным, прижимая клинок сильнее к моей шее. – Зачем ты шпионишь за своим отцом?

– Он не мой отец.

– А кто же он?

– Парень моей мамы.

– Он хорош?

– Хорош в чем?

Лезвие уже не так сильно давит мне на шею.

– Хорош для твоей мамы.

– Да, он действительно хорош.

Даррен опускает меч, подходит к батуту и устраивается на краю, свесив ноги через стальные пружины, удерживающие черный брезент. Он одет во все черное, его свитер и спортивные штаны такие же черные, как его волосы, подстриженные под горшок.

– Хочешь закурить?

– Ясное дело.

Даррен убирает меч с края батута и вонзает его в землю, чтобы освободить мне место рядом с собой. Он вытаскивает две сигареты из мягкой белой пачки без названия, раскури-

вайт обе и протягивает одну мне. Я делаю осторожную затяжку, и она обжигает меня изнутри, заставляя сильно закашляться. Даррен смеется.

– Северовьетнамский табачок, Тинк, – улыбается он. – Бьет по мозгам, как мул копытом. Забористая штуковина.

Я от души киваю. От второй затяжки голова идет кругом.

Мы смотрим через раздвижные двери гостиной на Лайла, Бич и Квана, беседующих над пластиковой коробкой для льда.

– Они нас не увидят? – спрашиваю я.

– Не, – говорит Даррен. – Они ни черта не замечают, когда проворачивают дела. Долбанные дилетанты. Это их погубит.

– Чем они там занимаются?

– Ты не знаешь?

Я качаю головой. Даррен улыбается.

– Да брось, Тинк. Ты должен знать. Может, ты и полный австралиец, но не такой уж тупой.

Я улыбаюсь.

– Эта коробка наполнена героином, – говорю я.

Даррен выдыхает в ночь сигаретный дым.

– И... – подталкивает он.

– И фиолетовый фейерверк был чем-то вроде секретной системы оповещения. Так твоя мама дает знать своим клиентам, что их заказы готовы.

Даррен улыбается:

– Свободная касса!

– А фейерверки разного цвета для разных дилеров.

– Очень хорошо, Простачок, – кивает Даррен. – А твой «хороший человек» прибежал сюда по указанию своего босса.

– Титуса Броза, – говорю я. Титус Броз. Повелитель Конечностей.

Даррен затягивается сигаретой и снова кивает.

– И когда ты все это придумал?

– Только что.

Даррен улыбается.

– Как ты себя чувствуешь?

Я ничего не отвечаю. Даррен усмехается. Он спрыгивает с батута и выдергивает свой самурайский меч.

– Хочешь что-нибудь разрубить?

Я секунду обдумываю эту любопытную возможность.

– Да, Даррен. Хочу.

Эта машина припаркована в двух кварталах от дома Даррена, рядом с небольшим приземистым домиком без света. Маленький темно-зеленый «Холден Джемини», похожий на леденец. Даррен вытаскивает из-за пояса сзади черную шапочку-«балаклаву» и натягивает ее на голову. Из кармана штанов он достает чулок.

– Вот, надень это, – говорит он, подкрадываясь к машине.

– Откуда ты это взял?

– Из маминой корзины с грязным бельем.

– Спасибо, я обойдусь.

– Не волнуйся, они прекрасно нелезют. У нее толстые бедра для вьетнамки.

– Это машина отца Монро, – говорю я.

Даррен кивает, бесшумно запрыгивая на капот. Под его весом на старом ржавом металле остается вмятина.

– Какого хрена ты это делаешь? – спрашиваю я.

– Тсс! – шепчет Даррен. Опираясь рукой на лобовое стекло отца Монро, он заползает наверх и выпрямляется в центре автомобильной крыши.

– Да ладно, не трогай машину отца Монро.

Отец Монро. Серьезнейший и пожилой отец Монро, священник в отставке, с тихим голосом, из Глазго, служивший в Дарвине, Таунсвилле, Эмеральде и осевший в Квинслендском Центральном Нагорье. Кладезь шуток, хранитель грехов и замороженных бумажных стаканчиков с фруктовым льдом, которые он держит в своей морозильной камере внизу и дарит испытывающим постоянную жажду местным ребятам, таким, как Август и я.

– Что он тебе сделал?

– Ничего, – отвечает Даррен. – Мне он ничего не сделал. Но он кое-что сделал Лягушонку Миллзу.

– Он хороший человек, давай просто уйдем отсюда.

– Хороший человек? – повторяет Даррен. – Лягушонок говорит совсем другое. Лягушонок говорит, что отец Монро платит ему десятку каждое воскресенье после мессы, чтобы Лягушонок показывал ему свой член, пока тот дрожит.

– Это чушь собачья.

– Лягушонок не станет врать. Он религиозен. Отец Монро сказал ему, что врать – грех, но конечно же, не грех показать семидесятипятилетнему старику свой член с яйцами.

– Ты даже не проткнешь металл.

Даррен топает подошвой по крыше машины.

– Металл тонкий. Наполовину проржавел. А этот клинок я точил шесть часов подряд. Лучшая японская сталь от...

– От ростовщиков с Милл-стрит.

Даррен закрывает глаза под отверстиями в «балаклаве». Он высоко поднимает клинок, сжимая рукоять обеими руками, сосредоточившись на чем-то внутри себя, как старый воин, собравшийся ритуально покончить с жизнью своего лучшего друга или своего любимого автомобиля в австралийском пригороде.

– Черт! – говорю я, лихорадочно натягивая на голову нестираный чулок Бич Данг.

– Просыпайся, время умирать, – говорит Даррен. Он резко опускает меч, и тот вонзается в «Джемини» с противным скрежетом металла о металл. Лезвие входит в крышу машины на треть, как «Экскалибур» в камень. У Даррена отвисает челюсть.

– Твою мать, он пробил! – Он сияет. – Ты видел это, Тинк?

В доме отца Монро загорается свет.

– Валим отсюда! – вскрикиваю я.

Даррен тянет за рукоять меча, но застрявший клинок не двигается. Он сильно дергает три раза обеими руками.

– Не идет! – Он наклоняет верхний конец на себя, затем от себя, но нижний застрял намертво.

В гостиной отца Монро открывается окно.

– Эй-эй, что вы делаете? – вскрикивает отец Монро через полуоткрытое окно.

– Давай же, уходим! – напеваю я.

Отец Монро распахивает свою входную дверь и спешит по дорожке к калитке.

– Убирайся с моей машины! – кричит он.

– Черт, – говорит Даррен, прыгивая с крыши.

Отец Монро подбегает к машине и видит загадочный самурайский меч, раскачивающийся туда-сюда, необъяснимым образом пронзивший сверху его припаркованный автомобиль.

Даррен оборачивается с безопасного расстояния, радостно помахивая своим вьетнамским членом, вытащенным из штанов:

– Всего десять донгов за просмотр, отец! – кричит он.

Воздух все так же по-ночному свеж. Два мальчика курят в придорожной канаве. Над головой звезды. Тростниковая жаба, раздавленная автомобильной шиной, лежит на асфальтовой дороге в метре от моей правой ноги. Ее розовый язык вывалился изо рта, и это выглядит так, словно жабу расплющило, когда она ела малиновый леденец на палочке.

– Хреново, правда? – говорит Даррен.

– Что именно?

– Расти, думая, что ты среди хороших парней, когда все это время имеешь дело с плохими парнями.

– Я не имею дел с плохими парнями.

Даррен пожимает плечами:

– Поглядим. Я помню, как впервые узнал, что мама в игре. Копы ворвались в нашу дверь, когда мы жили в Инале. Перевернули все вверх дном. Мне было семь лет, и я обосрался. В смысле – я действительно буквально обосрался в штаны.

Копы раздели Бич Данг догола, швырнули к фибровой стене и принялись с наслаждением крушить предметы домашнего обихода. Даррен смотрел «Семейство Партридж» по большому телевизору, который детективы опрокинули в поисках наркотиков.

– Это было какое-то гребаное безумие. Везде что-то ломалось, мама кричала на них, пиналась ногами, царапалась и прочее дерьмо. Они утащили маму через парадную дверь и оставили меня одного на полу гостиной, скулящего, как собачонка, с огромной кучей говна в трусах. Я был так ошарашен, что просто сидел и смотрел, как мама Партридж разговаривает со своими детьми вверх ногами.

Я качаю головой.

– Больные ублюдки, – говорю я.

– Такова игра, – пожимает плечами Даррен. – Года через два мама мне все рассказала. Мы были ключевыми игроками. Я чувствовал то же, что и ты сейчас.

Он говорит, что тошнотворное чувство внутри меня – это осознание того, что я вместе с плохими парнями, но сам я не самый плохой из плохих парней.

– Самые плохие парни просто работают на тебя, – поясняет Даррен.

Наемные убийцы, напрочь лишенные юмора и безумные, говорит он. Бывшие военные, бывшие заключенные, бывшие люди. Одиноким мужчинам лет тридцати-сорока. Загадочные ублюдки, еще более странные, чем те, что щупают и мнут пальцами авокадо на фруктово-овощных рынках. Те, которые могут сжимать человеческую шею до тех пор, пока она не хрустнет. Все те злодеи, что орудуют по закоулкам этого тихого города. Воры, мошенники и мужчины, которые насилуют и убивают детей. В своем роде ассасины, но не такие, которые нравятся нам в фильме «Октагон». Эти мужчины ходят в шлепанцах и коротких шортах. Они бьют людей не самурайскими мечами, а ножами, которые используют, чтобы нарезать жаркое по воскресеньям, когда к ним заглядывают их вдовствующие матери. Пригородные психопаты. Наставники Даррена.

– На меня они не работают, – говорю я.

– Ну, они работают на твоего отца, – отзывается Даррен.

– Он мне не отец.

– О, забыл, прости. А где твой настоящий отец?

– В Брекен-Ридже.

– Он хороший?

Всяк норовит подойти к взрослым мужчинам в моей жизни с меркой «хороший-плохой». Я оцениваю их по-иному. По мелким деталям. По воспоминаниям. По тому, как они произносили мое имя.

– Не успел узнать, – отвечаю я. – Что для тебя означает – быть хорошим мужчиной?

– Я никогда не встречал ни одного хорошего, только и всего, – говорит он. – Взрослые мужчины, Тинк, – самые поганые твари на планете. Никогда не доверяй им.

– А где твой настоящий отец? – спрашиваю теперь я.

Даррен поднимается из канавы, сплевывая струйку слюны сквозь стиснутые зубы.

– Ровно там, где ему положено быть, – отвечает он.

Мы возвращаемся по подъездной дорожке к дому Даррена и снова усаживаемся на краю батута. Лайл и Бич все еще погружены в кажущийся бесконечным разговор.

– Не парься, чувак, – произносит Даррен. – Ты просто выиграл в лотерею. Ты попал внутрь растущей индустрии. Рынок того дерьма в ящике для льда никогда не умрет.

Даррен говорит, что его мама недавно рассказала ему секрет об австралийцах. Она сказала, что этот секрет сделает его богатым человеком. Она сказала, что величайший секрет Австралии – это страдание, присущее нации. Бич Данг смеялась над рекламой по телевизору, в которой Пол Хоган кладет креветку на барбекю. Она сказала, что иностранные гости должны знать, что происходит через пять часов после такого австралийского барбекю с креветками, когда пиво и ром примешиваются к жестоким головным болям от солнца и по всей стране за закрытыми дверями совершается субботнее вечернее насилие. Правда состоит в том, сказала Бич, что австралийское детство такое идиллическое и радостное, настолько заполненное походами на пляж и играми в крикет на заднем дворе, что австралийская взрослая жизнь не может соответствовать нашим детским ожиданиям. Наши прекрасные ранние годы в этом огромном островном раю обрекают нас на меланхолию, потому что мы знаем, честно чувствуем костным мозгом под сомнительно-бронзовой кожей, что уже никогда не будем счастливее, чем прежде. Она сказала, что мы живем в одной из самых огромных стран на Земле, но на самом деле глубоко внутри мы все несчастны, а наркота лечит страдания, и индустрия «дури» никогда не умрет, потому что австралийское страдание никогда не прекратится.

– Через десять-двадцать лет я буду владеть тремя четвертями Дарры, возможно, половиной Иналы и хорошим куском Ричлендса, – говорит Даррен.

– Каким образом?

– Расширение, Тинк, – поясняет Даррен, распахнув глаза. – У меня есть планы. Этот район не навсегда останется городской выгребной ямой. Когда-нибудь, чувак, все эти дома в округе будут чего-то стоить, а я куплю их, когда они не будут стоить ничего. И с «дурью» то же самое. Время и место, Тинк. Это дерьмо во Вьетнаме ни хрена не стоит. Положи его в лодку и отведи к Мысу Йорк, и оно превратится в золото. Это как волшебство. Зарой его в землю и подожди десять лет, и оно превратится в алмаз. Время и место.

– Почему ты так мало говоришь в классе?

– На занятиях меня ничего не привлекает.

– Тебя привлекает торговля наркотиками?

– Дилерство? Нахер это. Слишком много легавых, слишком много неожиданностей. Мы строго импортеры. Мы не распространяем. Мы просто договариваемся. Мы предоставляем вам, австралийцам, делать по-настоящему грязную работу – толкать это на улицах.

– То есть Лайл выполняет вашу грязную работу?

– Нет, – отвечает Даррен. – Лайл выполняет грязную работу Титуса Броза.

Титус Броз. Повелитель Конечностей.

– Эй, Тинк. Человек должен где-то работать.

Даррен обнимает меня за плечи.

– Слушай, я ведь так и не поблагодарил тебя за то, что ты не настучал на меня насчет Джаббы, – смеется он. – Ты не стал крысой в истории с крысой.

Школьный садовник, мистер Маккиннон, отвел меня за шиворот в кабинет директора. Мистер Маккиннон оказался то ли слишком слеп, то ли пьян до слепоты, чтобы суметь опознать двух парней, которые собирались отрубить мне правый указательный палец при помощи мачете. Все, что мистер Маккиннон смог сказать, – это: «Один из них был *вьетманюга*!» Этак можно описать половину нашей школы. Я не назвал имена не из-за стойкости или верности одноклассникам, а скорее из чувства самосохранения, и то, что меня неделю оставляли после уроков переписывать в тетрадку таблицу умножения, являлось небольшой ценой за целые уши.

– Нам бы пригодился такой парень, как ты, – говорит Даррен. – Мне нужны люди, которым я могу доверять. Что скажешь? Хочешь помочь мне построить мою империю?

Я на секунду кидаю взгляд на Лайла, который все еще обсуждает дела со свирепой Бич Данг и ее кротким мужем.

– Спасибо за предложение, Даррен, но, ты знаешь, я никогда всерьез не задумывался о строительстве героиновой империи как о части своего жизненного плана.

– О, вот как? – Он швыряет сигаретный окурочок в волшебный замок своей сестры. – Ты человек с планом! И каков же великий жизненный план Тинка Белла?

Я пожимаю плечами.

– Ну давай, Илай, умный австралийский краб, расскажи, как ты собираешься выползти из этого ведра с дерьмом.

Я смотрю на ночное небо. На Южный Крест, напоминающий кастрюлю с одной ручкой из мерцающих белых звезд или маленький ковшик, в котором Лайл варит себе яйца каждым субботним утром.

– Я собираюсь стать журналистом, – отвечаю я.

– Ха! – гогочет Даррен. – Журналистом?

– Ага, – киваю я. – Я хочу работать в криминальном отделе «Курьер мейл». У меня будет дом в Гэпе, и я буду всю жизнь писать криминальные истории для газеты.

– Ха! Один из плохих парней собирается зарабатывать на жизнь тем, что будет писать о плохих парнях! – говорит Даррен. – И с какого хрена ты хочешь жить в Гэпе?

Мы купили нашу игровую консоль «Атари» через объявление в газете «Трейдинг Пост». Лайл возил нас к той семье в Гэп, зеленый пригород в восьми километрах к западу от центрального делового района Брисбена, которая недавно купила настольный компьютер «Коммодор 64» и больше не нуждалась в «Атари». Они продали нам ее за тридцать шесть долларов. Я никогда не видел так много высоких деревьев в одном пригороде. Голубые эвкалипты укрывали тенью детей, игравших в гандбол в пригородных «аппендиксах». Мне нравятся «аппендиксы». В Дарре мало «аппендиксов».

– Из-за «аппендиксов», – отвечаю я.

– Что это за хрень – ап-пен-дикс? – уточняет Даррен.

– Ну вот вроде того, где мы сейчас. Улочка с глухим концом. Тупик. Отлично подходит для игры в гандбол и крикет. Никаких машин, проезжающих насквозь.

– А-а, да, я люблю глухие дороги, – он качает головой. – Послушай, приятель, если ты хочешь занять хоть какую-то конуру в Гэпе, этого дерьма придется ждать двадцать или тридцать лет при такой-то журналистской чепухе. Тебе нужно сперва получить диплом, а потом умолять о работе какого-нибудь засранца, который будет командовать тобой тридцать лет; и тебе придется экономить каждый пенни, а когда ты накопишь, в Гэпе уже не останется домов, которые можно будет купить!

Даррен тычет пальцем в направлении гостинной.

– Видишь вон ту пластиковую коробку возле ног твоего «хорошего человека»? – спрашивает он.

– Угу.

– Там внутри – целый дом в Гэпе, – говорит он. – Мы плохие парни, Тинк, и нам не приходится ждать, чтобы покупать дома в Гэпе. В моей игре мы покупаем их завтра, если захотим.

Он улыбается.

– Это так весело? – спрашиваю я.

– Что?

– Твоя игра.

– Конечно, это весело, – отвечает он. – Ты встречаешь много интересных людей. Множество возможностей для развития твоего бизнеса, для получения деловых знаний. А когда копы кружат поблизости, ты реально чувствуешь, что живешь. Ты ввозишь огромную партию прямо под их носом, и делаешь продажи, и откладываешь прибыль, и поворачиваешься к своей семье и друзьям, и говоришь: «Черт возьми, поглядите, чего вы можете достичь, когда работаете как одна команда и по-настоящему придерживаетесь этого правила».

Даррен дышит глубоко и взволнованно.

– Это вдохновляет меня, – продолжает он. – Это заставляет поверить, что в таком месте, как Австралия, действительно возможно все.

Какое-то время мы сидим молча. Даррен щелкает крышкой своей зажигалки и спрыгивает с батута. Он направляется к парадной лестнице дома.

– Пошли наверх, – говорит он.

Я озадаченно молчу.

– Чего ты ждешь? – спрашивает он. – Мама хочет с тобой познакомиться.

– Зачем твоей маме со мной знакомиться?

– Она хочет встретиться с парнем, который не стал крысой из-за крысы.

– Я не могу пойти туда.

– Почему нет?

– Почти час ночи, и Лайл надерет мне задницу.

– Он не надерет тебе задницу, если мы не хотим, чтобы он это делал.

– С чего ты так уверен?

– Потому что он знает, кто мы такие.

– А кто вы такие?

– Мы – плохие парни.

Мы входим через раздвижные стеклянные двери на балкон. Даррен уверенно шагает в гостиную, не обращая внимания на Лайла, сидящего в кресле слева от него. Мама Даррена сидит, упершись локтями в колени, на длинном коричневом кожаном диване, ее муж откинулся на спинку рядом с ней.

– Эй, мам, я нашел парня, который шпионил за вами во дворе, – говорит Даррен.

Я вхожу в гостиную в своей пижаме с дыркой на ягодице.

– Это тот пацан, который не настучал про Джаббу, – поясняет Даррен.

Лайл поворачивается вправо и видит меня; его лицо переполняется яростью.

– Илай, какого черта ты здесь делаешь? – спрашивает он вкрадчиво и угрожающе.

– Даррен пригласил меня, – отвечаю я.

– Сейчас час ночи. Ступай. Домой. Немедленно!

Я поспешно разворачиваюсь и направляюсь обратно к дверям гостиной.

Бич Данг издает тихий смешок с дивана.

– Неужели ты сдашься так легко, паренек? – интересуется она.

Я останавливаюсь. Оборачиваюсь назад. Бич Данг улыбается, матовая белая основа на ее лице трескается вокруг морщинок от раздвигающихся губ.

– Объясни свое поведение, мальчик, – говорит она. – Пожалуйста, расскажи, зачем конкретно ты в этот поздний час в пижаме сверкаешь здесь своей милой белой попкой?

Я гляжу на Лайла. Он смотрит на Бич, и я прослеживаю за его взглядом. Она достает из серебряного портсигара длинную белую ментоловую сигарету, закуривает, откидывается на спинку дивана и делает первую затяжку, затем выпускает дым. Ее глаза сияют так, будто она смотрит на новорожденного ребенка.

– Ну? – подстегивает она.

– Я видел фиолетовый фейерверк, – отвечаю я. Бич понимающе кивает. Черт. Я никогда не осознавал, насколько она красива. Может, ей и за пятьдесят, или даже ближе к шестидесяти, но она так экзотична и волнующе-хладнокровна, что кажется змеей. Возможно, она так привлекательна в этом возрасте, потому что сбрасывает кожу, выскальзывает из старой оболочки, когда находит новую, чтобы ползти по жизни. Бич смотрит на меня с улыбкой, пока я не отвожу взгляд и не опускаю голову, чтобы подтянуть шнурок на своих болтающихся пижамных штанах.

– Ну и-и?.. – произносит она.

– Я... эм-м... я пошел за Лайлом, потому что... – Моя глотка пересыхает. Пальцы Лайла впиваются в подлокотники кресла. – Из-за всех этих вопросов.

Бич наклоняется вперед на диване. Изучает мое лицо.

– Подойди ближе, – говорит она.

Я делаю два шага к ней.

– Ближе, – настаивает она. – Подойди ко мне.

Я придвигаюсь еще ближе. Она кладет сигарету в угол стеклянной пепельницы, берет меня за руку и притягивает так близко, что ее колени касаются моих. От нее пахнет табаком и цитрусовыми духами. Ее руки бледно-белые и мягкие, а ногти длинные и красные, как пожарная машина. Она изучает мое лицо секунд двадцать и улыбается.

– Ох, юный деятельный Илай Белл, так много мыслей, так много вопросов, – говорит она. – Ну давай, спрашивай, мальчик.

Бич с серьезным выражением лица поворачивается к Лайлу.

– И я надеюсь, Лайл, что ты ответишь правду, – продолжает она.

Она кладет ладони на мои бедра и разворачивает меня лицом к Лайлу.

– Вперед и с песней, Илай! – подбадривает она меня.

Лайл вздыхает и качает головой.

– Бич, это... – начинает он.

– Наберись храбрости, мальчик, – говорит мне Бич, обрывая Лайла. – Лучше воспользуйся своим языком, пока Кван не отрезал его и не бросил в суп.

Кван сияет и поднимает брови от такой перспективы.

– Бич, я не думаю, что это необходимо, – возражает Лайл.

– Пускай мальчик решает, – отвечает она, наслаждаясь моментом.

У меня есть вопрос. У меня всегда есть вопросы. У меня всегда их слишком много.

– Почему ты занимаешься наркотиками? – спрашиваю я.

Лайл качает головой, смотрит в сторону и ничего не отвечает. Теперь Бич говорит тоном директора моей школы:

– Лайл, мальчик заслуживает ответа, не так ли?

Он глубоко вздыхает и поворачивается ко мне.

– Я делаю это для Титуса.

Титус Броз. Повелитель Конечностей. Лайл делает все для Титуса Броза.

Бич качает головой:

– Правду, Лайл, – повторяет она.

Лайл размышляет над этим долгую секунду, все глубже вонзая ногти в подлокотники. Затем встает и подхватывает с ковра гостиной пластиковую коробку для льда.

– Титус свяжется с вами по поводу следующего заказа, – говорит он. – Пойдем, Илай.

Он выходит через раздвижные двери. И я слеую за ним, поскольку только что в его голосе слышались забота и любовь, а я последую за этим чувством куда угодно.

– Подождите! – рявкает Бич Данг.

Лайл останавливается, так что я тоже останавливаюсь.

– Вернись сюда, мальчик, – говорит она.

Я смотрю на Лайла. Он кивает. Я осторожно подхожу к Бич. Она смотрит мне в глаза.

– Почему ты не настучал на моего сына? – интересуется она.

Даррен сидит сейчас на кухонном столе, в кухне, переходящей в гостиную, и грызет мюсли, молча наблюдая за разворачивающейся перед ним беседой.

– Потому что он мой друг, – отвечаю я.

Даррен кажется шокированным этим признанием. Он улыбается.

Бич изучает мои глаза. Кивает.

– Кто научил тебя быть таким преданным своим друзьям? – спрашивает она.

Я тут же тычу большим пальцем в Лайла:

– Он.

Бич улыбается. Она все еще пристально смотрит мне в глаза, когда произносит:

– Лайл, если я могу позволить себе такую дерзость...

– Да-да, – говорит Лайл.

– Ты когда-нибудь приведешь юного Илая обратно, слышишь, и, наверно, мы обсудим некоторые возможности, которые появились. Давайте рассмотрим, не сможем ли мы вести бизнес между собой.

Лайл ничего не отвечает.

– Пойдем, Илай, – повторяет он.

Мы выходим за дверь, но у Бич Данг есть еще один вопрос.

– Ты все еще хочешь получить ответ, Илай? – спрашивает она.

Я останавливаюсь и оборачиваюсь.

– Да.

Она откидывается на спинку дивана, затягиваясь своей длинной белой сигаретой. Кивает и выдыхает изо рта столько дыма, что серое облако скрывает ее глаза. Облако, змея, дракон и плохие парни.

– Это все ради тебя.

Мальчик получает письмо

Дорогой Илай!

Привет из Б-16! Благодарю, как обычно, за то, что пишешь мне. Твое письмо было самой большой радостью, которая случилась у меня за месяц. В последнее время тут хуже, чем в Северной Ирландии. Несколько парней объявили голодовку, протестуя против тесноты, переполненности камер и того, что нечем заняться в дни отдыха. Вчера Билли Педона засунули головой в парашу четвертого двора, за то, что слишком много болтал с Гигси, который жаловался на холод на прогулке. Теперь во все парашы вставили маленький ободок, чтобы внутрь не пролезла человеческая голова. Кажется, ты называешь такое «прогрессом»? В воскресенье в столовке вышло побоище. Старина Гарри Смоллкоomb воткнул вилку в левую щеку Джейсону Харди, потому что Харди сожрал остаток рисового пудинга.

Весь ад вырвался на свободу, и в результате вертухаи забрали телевизор из первого блока. Никаких больше «Дней нашей жизни». Отберите у братвы из «Богго» свободу, заберите их права, заберите человеческий облик, отнимите волю к жизни, но, Бога ради, не трогайте «Дни нашей жизни»! Как ты можешь себе представить, парни изошли на дерьмо из-за этого, и начали разбрасывать дерьмо по всей тюрьме, как обезьяны. Я понятия не имею, откуда взялось столько дерьмища. В любом случае, все парни горят желанием узнать любые новости из внешнего мира, которые случились за эти дни, так что всякая информация будет принята с большой благодарностью. Последнее, что мы видели: Лиз, похоже, светит срок за стрельбу в Марию – тупая она шлюха, даже если это выглядело как случайное нападение. Она все еще не нашла шелковый шарф с буквой «С», который, я считаю, ее погубит. Наши сральник засорился во вторник, потому что у Денниса вышибло дно из-за плохой партии чечевицы, которой нас постоянно пичкают. Деннис израсходовал все запасы своей туалетной бумаги, и ему пришлось выдирать страницы из старой книжки «Выбор Софи», которая у нас валяется. Конечно, страницы не сломали сральник наглухо, а просто забили его, так что весь первый отряд мог насладиться запахом богатого внутреннего мира Денниса. Я рассказывал тебе о Треножнике в прошлом письме? Фриц некоторое время назад подобрал котенка, ползающего по двору. Фриц в последнее время вел себя хорошо, так что вертухаи разрешили ему заботиться о коте в свободное время. Мы все начали оставлять немного еды с обеда для кота, и он посещал наши камеры на досуге. А потом один из вертухаев случайно прихлопнул кота дверью камеры, и беднягу пришлось отнести к ветеринару, а тот выдвинул Фрицу с маленьким котенком серьезный ультиматум: либо дорогая операция по удалению ноги, либо пуля между глаз (не совсем то, что буквально сказал хирург, но ты представляешь общую картину). О покалеченном коте разошлись слухи, и мы пустили по кругу шляпу, и мы все вложили свой месячный заработок в операцию для несчастного котика Фрица. Ему сделали операцию, и он вернулся к нам, разгуливает теперь на трех лапах. Затем у нас случилась продолжительная дискуссия насчет того, как назвать кота, жизнь которого мы все спасли, и мы остановились на имени «Треножник». Этот кот стал здесь чем-то большим, чем «Битлз». Рад узнать, что у вас с Августом все хорошо в школе. Не забивайте на свою учебу. Вы же не хотите оказаться в выгребной яме, как эта, и не хотите опомниться накачанными хлоралгидратом и трахнутыми в задницу через перегородку прачечной каким-нибудь Черным Жеребцом, потому что так может случиться с ребятами, которые плохо учатся. Я сказал Фрицу держать меня в курсе ваших с Августом табелей успеваемости, хороших или плохих. В ответ на твой вопрос: я полагаю, лучший способ узнать, хочет ли парень зарезать тебя, – это скорость его шагов. Человека, у которого на уме убийство, выдают его глаза, в них есть намерение. Если люди загружены чем-то таким, ты увидишь, как они приближаются к своей жертве – медленно, глядя на нее издали, словно ястреб, а затем, когда приблизятся, то

ускоряют шаги. Ближе, ближе, ближе. Если собираешься напасть на жертву сзади, втыкай заточку как можно ближе к почкам. Человек упадет, как мешок с картошкой. Суть в том, чтобы сунуть заточку достаточно жестко, чтобы донести свою точку зрения, и достаточно мягко, чтобы избежать обвинения в преднамеренном убийстве. Поистине, прекрасное равновесие. Скажи Дрищу, что его сад никогда не выглядел лучше. Азалии настолько розовые и пышные, что кажется, будто мы выращиваем розовую сахарную вату для Королевского Шоу. Благодарочка за фотографию мисс Хаверти. Она даже лучше, чем ты описывал. Нет ничего сексуальнее, чем молодая школьная учительница в очках. Ты прав насчет ее лица, оно как утренняя заря. Думаю, ты не скажешь ей об этом, чтобы не нарываться, но ребята из крыла «Д» передают ей большой привет. Ну, мне пора, приятель. Харч готов, и мне лучше получить свою долю болоньезе, прежде чем она исчезнет, как птица додо. Поднимайся высоко, мальши, ступай легко.

Алекс.

P. S.

Ты уже звонил своему отцу? Я не лучший человек, чтобы судить об отношениях отца с сыном, но считаю, если ты так много думал о нем, то есть нехилая вероятность, что он тоже думал о тебе.

Субботним утром мы с Дрищем пишем письма. Мама с Лайлом опять ушли в кино, вот такие они страстные любители синематографа. Они собирались посмотреть «Осьминожку». Август и я просились с ними. Они снова сказали «нет». Это уже смешно. Долбанные дилетанты.

– «Осьминожка» – это о чем? – спрашивает Дрищ, яростно строча правой рукой, причем удивительно аккуратным почерком.

Я отрываюсь от своего ответного письма.

– Джеймс Бонд сражается с морским монстром с восемью вагинами.

Мы сидим за кухонным столом со стаканами какао и нарезанными апельсинами. Дрищ слушает скачки на ипподроме «Игл Фарм» по приемнику, стоящему возле кухонной раковины. Август пристроил на зубах четвертушку апельсиновой кожуры, как Рэй Прайс – свою капу. На улице жарко и душно, потому что сейчас лето и это Квинсленд. Дрищ снял футболку, и я могу видеть его грудную клетку доходяги, как будто он медленно умирает у меня на глазах от своей диеты из сигарет и печали.

– Ты хоть ел, Дрищ?

– Не начинай, – отмахивается он, зажав самокрутку в уголке рта.

– Ты похож на привидение.

– Дружелюбное привидение? – спрашивает он.

– Ну, не враждебное.

– Что ж, ты и сам не бронзовая статуя, малец. Как продвигается твое письмо?

– Почти готово.

Дрищ провел в Богго-Роуд в общей сложности тридцать шесть лет. Ему не разрешали переписку большую часть его срока в Д-9. Он знает, что означает хорошее письмо для человека за решеткой. Это связь с волей. Человеческая поддержка. Пробуждение от кошмарного сна. Дрищ годами пишет заключенным в Богго-Роуд, подписываясь фальшивыми именами в графе «Отправитель», потому что надзиратели никогда не пропустят письмо от Артура «Дрища» Холлидея – человека, который знает, как сбежать из их крепости с красно-кирпичными стенами, лучше, чем кто-либо другой.

Дрищ познакомился с Лайлом в 1976 году, когда они оба работали в брисбенской автомобильной мастерской. Дрищу тогда было шестьдесят шесть. Он отсидел двадцать три года из

своего пожизненного срока и трудился по схеме «освобождение для работы», днем работая под надзором на воле, а на ночь возвращаясь в тюрьму. Дриш и Лайл хорошо сработались, перебирая автомобильные двигатели. Они быстро нашли общий язык – сленг механиков и сленг времен своей беспутной юности. Иногда по пятницам Лайл засовывал длинные рукописные письма в рюкзак Дрища, чтобы тот нашел их в выходные и друзья могли бы продолжить свои беседы с помощью убогого почерка Лайла. Дриш однажды сказал мне, что готов умереть за Лайла.

– Но затем Лайл пришел и попросил кое о чем потруднее, чем смерть.

– О чем, Дриш?

– Он попросил меня присмотреть за вами, двумя спиногрызами.

Два года назад я застал Дрища пишущим письма за кухонным столом.

– Я пишу заключенным, которые не получают писем от родных и друзей, – сказал он.

– А почему их родные и друзья не пишут им? – спросил я.

– У большинства из этих парней никого нет.

– А можно я напишу кому-нибудь?

– Конечно, – кивнул он. – Почему бы тебе не написать Алексу?

Я взял ручку и бумагу и уселся за стол рядом с Дрищем.

– О чем мне писать?

– Напиши о том, кто ты и чем занимался сегодня.

Дорогой Алекс!

Меня зовут Илай Белл. Мне десять лет, и я учусь в пятом классе Даррской государственной школы. У меня есть старший брат по имени Август. Он не разговаривает. Не потому, что не может говорить, а потому, что не хочет. Моя любимая игра на «Атари» – «Missile Command», моя любимая команда регби – «Параматта Илз». Сегодня мы с Августом ездили кататься в Иналу. Мы нашли парк, от которого отходил канализационный тоннель, достаточно большой, чтобы мы могли в него забраться. Но нам пришлось вылезти, когда какие-то мальчишки-аборигены сказали, что это их тоннель и что мы должны убраться, если не хотим получить трепку. У самого большого из пацанов-аборигенов был здоровенный ирам через правую руку. У того, которого Август избил, прежде чем они все убежали. По дороге домой на тропинке мы увидели стрекозу, поедаемую заживо зелеными муравьями. Я сказал Августу, что мы должны избавить стрекозу от страданий. Август хотел оставить все, как есть. Но я наступил на стрекозу и раздавил ее насмерть. Однако когда я на нее наступал, то убил тринадцать зеленых муравьев по ходу дела. Как вы думаете, может, мне стоило просто оставить стрекозу в покое?

Искренне ваши,

Илай.

P. S.

Мне жаль, что вам никто не пишет. Я буду продолжать писать вам, если захотите.

Две недели спустя я был вне себя от радости, получив от Алекса ответное письмо на шести страницах, причем три оказались посвящены воспоминаниям о тех временах детства Алекса, когда его тоже запугивали мальчишки в канализационных тоннелях, и о драке, которая затем последовала. После отрывка, в котором Алекс подробно описывал анатомию человеческого носа и указывал, насколько он слаб по сравнению с быстро подставленным лбом, я спросил Дрища, с кем именно я подружился по переписке.

– Это Александер Бермудес, – ответил он.

Приговоренный к девяти годам заключения в тюрьме Богго-Роуд после того, как полиция обнаружила шестьдесят четыре незаконно ввезенных советских автомата АК-74 в сарае на заднем дворе его дома в Эйч-Майл-Плейнс, которые он собирался распространить среди членов банды мотоциклистов-преступников «Повстанцы», служивший когда-то в Квинсленде парламентским приставом.

– Не забывай быть конкретным, – всегда говорит Дриц. – Подробности. Вставляй все детали. Парни ценят все это подробное дерьмо из повседневной жизни, которого они больше не получают. Если у тебя есть учительница, которая тебе нравится, расскажи им, как выглядят ее волосы, как выглядят ее ноги, что она ест на обед. Если она учит тебя геометрии, расскажи, как она рисует долбанный треугольник на школьной доске. Если ты вчера мотался в магазин за пакетиком конфет – ездил ли ты на своем велике, ходил ли пешком, видел ли радугу по пути? Ты купил леденцы, ириски или карамельки? Если на прошлой неделе ты ел хороший кусок мяса – был это стейк с горошком, карри или говядина с грибами? Больше подробностей.

Дриц продолжает писать свою страницу. Он втягивает дым, его щеки сжимаются, и я вижу очертания черепа под кожей, а короткая на затылке и по бокам стрижка с «площадкой» сверху делает Дрица похожим на чудовище Франкенштейна. Оно живое. Но... надолго ли, Дриц?

– Дриц.

– Да, Илай.

– Могу я задать тебе вопрос?

Дриц прекращает писать. Август тоже прерывает свое занятие. Они оба смотрят на меня.

– Ты правда убил того водителя такси?

Дриц слегка улыбается. Его губы дрожат, и он поправляет свои очки в толстой черной оправе. Я знаком с ним достаточно давно, чтобы понимать, когда ему больно.

– Прости, – говорю я, опуская голову, возвращая свою шариковую ручку обратно на страницу письма. – Просто в сегодняшней газете была большая статья.

– Что за статья? – спрашивает Дриц. – Я сегодня ничего такого не видел в «Курьере».

– Не в «Курьер мейл». Это было в местном листке, в «Юго-западной звезде». Одна из тех длинных простыней из цикла «Квинсленд помнит». Огромная полоса. Речь шла о Гудини из Богго-Роуд. Они рассказывали о твоих побегах. Они говорили об убийстве в Саутпорте. Там говорилось, что ты мог быть невиновен. Там говорилось, что ты мог отсидеть двадцать четыре года за преступление, которое ты не...

– Столько воды с тех пор утекло, – обрывает меня Дриц.

– Но разве ты не хочешь, чтобы люди знали правду?

Дриц затягивается сигаретой.

– А могу теперь я задать тебе вопрос, малыш?

– Да.

– Ты сам-то как думаешь, убивал я его?

Я не знаю. Что я знаю – так это то, что ничто не убило самого Дрица. Я знаю только, что он никогда не сдавался. Темнота не убила его. Копы не убили его. Тюремщики не убили его. Решетки. Дыра. Черный Питер не убил его. Кажется, я всегда считал, что, если бы он был убийцей, его совесть могла бы стать тем, что убило бы его в те черные дни в Дыре. Но и совесть не убила его. Потеря той жизни, которая могла бы у него быть, – тоже не убила его. Почти половину своей жизни он провел за решеткой, и все равно может улыбаться, когда я спрашиваю – убийца ли он. Гудини был заперт в ящике в общей сложности тридцать шесть лет и вышел живым. Долгий фокус. Такой фокус, что кролику потребовалось тридцать шесть лет, чтобы высунуть голову из шляпы. Затянувшийся трюк с человеческой жизнью.

– Я считаю, ты хороший, – произношу я. – Я не думаю, что ты способен убить человека. Дрищ выпускает изо рта клуб дыма. Наклоняется ко мне через стол. Его голос звучит мягко и зловеще.

– Никогда не нужно недооценивать то, на что способен другой человек, – говорит он и откидывается обратно на спинку стула. – А теперь покажи мне эту статью.

Квинсленд помнит: нет ничего невозможного для Гудини из Богго-Роуд

Он считался наиболее опасным заключенным в Британском Содружестве, главным специалистом по побегам, которого называли «Гудини из тюрьмы Богго-Роуд», но величайшим трюком Артура «Дрища» Холлидея стал выход из тюрьмы свободным человеком.

Сирота, воспитывавшийся при церкви, потерявший обоих родителей в возрасте 12 лет, Дрищ Холлидей начал свою предопределенную преступную жизнь, когда был помещен в тюрьму на четыре дня за прыжок с поезда по пути на работу стригалы овец в Квинсленде, которая могла бы удержать его на прямой дорожке. Холлидей был опытным тридцатилетним мошенником и взломщиком к 28 января 1940 года, когда он совершил свой первый побег из печально известного Отряда № 2 тюрьмы Богго-Роуд.

Побеги Дрища

Гудини Холлидей совершил свой первый чудесный побег, взобравшись по участку тюремной стены, который стал известен как «Тропа Холлидея», в слепой точке, невидимой для охранников из окружающих сторожевых башен. Несмотря на критику со стороны общественности по поводу охраны тюрьмы, после однократного побега эта часть тюремной стены осталась неизменной. Впоследствии публика Брисбена не особенно удивилась, когда выяснилось, что во время следующего побега, 11 декабря 1946 года, Холлидей перелез через угловую стену тюремных мастерских всего в пятнадцати ярдах от «Тропы Холлидея», ставшей теперь легендарной. За тюремным забором он снял с себя одежду заключенного, под которой оказалась тайком пронесенная гражданская, и поймал такси до северных пригородов Брисбена, дав водителю чаевые за возможные неприятности. После неистовой и широкомасштабной полицейской облавы Холлидей был вновь пойман спустя четыре дня. На вопрос, зачем он совершил дерзкий второй побег, Холлидей ответил: «Свобода для человека означает все. Нельзя винить его за попытку».

Недолгая жизнь на свободе

Освобожденный в 1949 году, Холлидей переехал в Сидней, где работал в «Армии спасения», прежде чем начал заниматься кровельным ремонтом, используя навыки работы с листовым металлом, полученные в Богго-Роуд. Он сменил имя на Артур Дейл и вернулся в Брисбен в 1950 году, где влюбился в дочь владельца закусочной «Вуллунгабба». Холлидей женился на

Ирен Каталине¹⁴ Клоуз 2 января 1951 года, и пара переехала в квартиру в Редклиффе, на северном побережье Брисбена, в 1952 году, всего за несколько месяцев до того, как Холлидей снова попал в заголовки национальных газет, когда его осудили и приговорили к пожизненному заключению за убийство на набережной Саутпорта водителя такси Алана Маккоуэна, 23 лет.

Главный следователь по этому делу, детектив-инспектор полиции Квинсленда Фрэнк Бишоф утверждал, что Холлидей сбежал с места убийства Маккоуэна и кинулся в Сидней, где и был схвачен полицией после того, как ранил себя в ногу, когда его собственный пистолет 45-го калибра выстрелил во время жестокой борьбы с доблестным гилдфордским кладовщиком, которого он пытался ограбить.

В переполненном зале суда яблоку негде было упасть, когда Бишоф давал показания, как Холлидей признался в убийстве Маккоуэна, восстанавливаясь после пулевого ранения на больничной койке в Параматте. Бишоф заявил, что в своем признании Холлидей подробно описывал, как сел в такси Маккоуэна в Саутпорте той роковой ночью 22 мая 1952 года, а затем с целью грабежа заставил молодого таксиста остановиться в укромном месте у смотровой площадки Каррамбин, дальше к югу. По словам Бишофа, когда Маккоуэн оказал сопротивление, Холлидей забил водителя до смерти своим пистолетом 45-го калибра. Бишоф свидетельствовал, что Холлидей продекламировал стихотворение во время своего признания: «Птицы едят, и беспечны они. Мы же в трудах, почему мы должны?»¹⁵

Дриц Холлидей между тем яростно утверждал, что Бишоф хочет повесить на него убийство Маккоуэна; и это подробное признание – от точных названий мест и до стихотворения – было, как заявил Холлидей, плодом воображения Бишофа.

«Курьер мейл» писала 10 декабря 1952 года, что «мистер Холлидей поднял шум в суде, когда Бишоп заявил, что Холлидей сказал ему: “Я убил его”».

«Холлидей вскочил на ноги, – говорилось в репортаже. – И, перегнувшись через перила скамьи подсудимых, выкрикнул: “Это ложь!”»

Холлидей утверждал, что в ночь убийства Маккоуэна он находился в Глен-Иннесе, в Северных Плоскогорьях Нового Южного Уэльса, примерно за 400 километров от места происшествия.

Фрэнк Бишоф стал впоследствии комиссаром полиции Квинсленда и проработал на этой должности с 1958 по 1969 годы, уйдя в отставку на фоне массовых обвинений в коррупции. Он скончался в 1979 году. Перед тем как быть приговоренным к пожизненному заключению, Холлидей заявил со скамьи подсудимых: «Повторяю, я не виновен в этом преступлении».

На выходе из суда жена Холлидея, Ирен Клоуз, поклялась поддерживать своего мужа.

¹⁴ В оригинале имя, которое пишет ранее в воздухе Август, и это имя пишутся по-разному – Caitlyn и Kathleen соответственно. И в русской транскрипции эти имена были максимально разведены.

¹⁵ В оригинале: Birds eat, and they're free. They don't work, why should we?

Черные дни в Черном Питере

В декабре 1953 года, после очередной неудавшейся попытки побега, Холлидей был брошен в «Черный Питер», печально известную подземную одиночную камеру тюрьмы Богго-Роуд, пережиток варварского и кровавого прошлого Брисбенской каторжной колонии. Холлидей пережил там 14 дней палящего декабрьского зноя, вызвав ожесточенные общественные дебаты по поводу современных методов перевоспитания заключенных.

«Итак, Холлидея поместили в карцер, – писал Л. В. Аткинсон из Гайторна в «Курьер мейл» 11 декабря 1953 года. – Несчастный узник, инстинктивно стремящийся к свободе, получил наказание в самой полной, мрачайшей степени нашей средневековой тюремной системы? Принцип современного гуманного юридического наказания не может допускать применения пыток».

Холлидей вернулся из Черного Питера городской легендой. В Брисбене в 1950-х годах школьники за утренним чаем с печеньем шептались не о Неде Келли и Аль Капоне, а пересказывали друг другу байки о Гудини из Богго-Роуд.

«Его знание зданий, крыш и инструментов, в сочетании со злостью и бесстрашием – сделали его заключенным, находящимся под самым пристальным надзором, – писала «Санди мейл». – Детективы, которые знали его по годам деятельности взломщика, утверждают, что он может взбираться по стенам, как муха. Вероятно, Холлидей никогда не перестанет пытаться сбежать. Полицейские, которые его знают, говорят, что будут наблюдать за ним каждую минуту его пожизненного заключения, что означает, если он доживет до старости, по меньшей мере еще 40 лет сводящего с ума существования за красными кирпичными стенами Богго-Роуд».

В течение следующих 11 лет заключения Холлидея трижды в день обыскивали с раздеванием. В камере ему разрешалось носить только пижаму и тапочки. Два офицера сопровождали его повсюду. Его занятия были отменены. На его камере Д-9 были установлены дополнительные замки, также дополнительные замки установили и на всем крыле «Д». Прогулочный двор номер пять превратили в максимально охраняемый двор, где Холлидей мог передвигаться днем в пределах стальной клетки. Только по выходным дням одному из заключенных позволялось играть с ним в шахматы внутри клетки. Холлидею не разрешалось разговаривать с другими заключенными из опасения, что он поделится с ними своими бесконечными планами побега.

8 сентября 1968 года брисбенская газета «Правда» сообщила, что Холлидею недавно исполнилось 60 лет, в статье под заголовком: «СЛОМЛЕННЫЙ УБИЙЦА НИ С КЕМ НЕ ОБЩАЕТСЯ». «Из глаз квинслендского убийцы и беглеца из тюрьмы Артура Эрнеста Холлидея по прозвищу Гудини исчез блеск, – говорилось в статье. – После нахождения в течение многих лет под постоянной двойной охраной и самых строгих мер безопасности, принятых когда-либо по отношению к какому-либо заключенному в нашем штате, 60-летний Дриц Холлидей превратился в ходячий овощ внутри мрачных стен Богго-Роуд».

Но Холлидей обладал «неукротимым духом», как выразился тогдашний начальник тюрьмы в интервью для прессы, «которого строгое наказание не

смогло сломить, и он никогда не жаловался на условия содержания, какими бы суровыми и стесненными они ни были».

Чем дольше продолжалось его заключение, тем меньше Холлидей становился одержим идеей побега. К концу шестидесятых он был уже слишком стар, чтобы карабкаться по красным кирпичным стенам Богго-Роуд. После нескольких лет хорошего поведения он получил должность тюремного библиотекаря, что позволило ему поделиться своей любовью к литературе и поэзии с наиболее заинтересованными заключенными. Они регулярно собирались в прогулочном дворе, чтобы послушать, как Гудини Холлидей читает стихи своего любимого персидского поэта-философа Омара Хайяма, чьи работы он обнаружил в тюремной библиотеке еще в 1940-х годах.

Его любимой поэмой была «Рубайят» Хайяма, которую он часто декламировал над шахматной доской с металлическими фигурами, тщательно выточенными им собственноручно на станке в тюремной мастерской.

Жизнь – доска лишь из клеточек дней и ночей,
Где играет Судьба, расставляя людей.
Люди любят, воюют, едят, суетятся,
А в конце друг за другом все в ящик ложатся.

Репортерская удача

В итоге величайшим трюком Гудини Холлидея стало выживание в тюрьме Богго-Роуд. В конечном счете он покинул тюрьму через парадные ворота после отбытия двадцатичетырехлетнего срока за убийство Атола Маккоуэна, провожаемый поздравительными улыбками как заключенных, так и тюремных служащих.

В апреле 1981 года репортер «Брисбен телеграф» Питер Хансен нашел Дрища Холлидея, моющего золото в ручье неподалеку от Килкоя, где тот долгое время проживал отшельником, заплатив пять долларов Департаменту лесного хозяйства, чтобы законно находиться на лесных землях в качестве золотодобытчика.

«Я никогда не признавал вины, – сказал Холлидей по поводу своего спорного обвинения в убийстве. – Бишоф просто выдумал то мое признание, которое озвучил в суде. Знаете ли, Бишоф был жестоким человеком. Именно мое дело помогло ему стать комиссаром полиции. Я покинул Брисбен за два дня до убийства... Меня осудили просто потому, что мое имя Артур Холлидей».

Холлидей сказал, что не побоялся бы вновь вернуться в Богго-Роуд стариком.

«Я практически хозяин этого места, – заявил он. – Под конец они даже использовали меня в качестве консультанта по безопасности».

Два года спустя Артур «Дрищ» Холлидей, кажется, исчез с лица земли. В последний раз его видели живым в кузове грузовика в Редклиффе, на северной стороне Брисбена. Но легенда о Дрище Холлидее жива внутри красных кирпичных стен тюрьмы Богго-Роуд, где камера Гудини под номером девять в крыле «Д» остается пустой. Просто из хозяйственных соображений,

утверждают тюремные чиновники. Однако заключенные убеждены, что им еще предстоит найти узника, достойного в ней содержаться.

– Дриц.

– Да, малыш?

– Тут говорится, что Ирен пообещала поддерживать своего мужа.

– Ага.

– Но ведь она этого не сделала, не так ли?

– Сделала, малыш.

Дриц возвращает мне газету, протянув длинные загорелые руки через кухонный стол.

– Не всегда нужно быть рядом с кем-то, чтобы поддерживать его, – говорит он. – Как продвигается твое письмо?

– Почти закончил.

Дорогой Алекс!

Как ты думаешь, Боб Хоук хорошо справляется с работой премьер-министра? Дриц говорит, что у него достаточно хитрости и воли, чтобы быть хорошим лидером для Австралии. Дриц говорит, что он напоминает Рафи Реджини, старого немецкого еврея, который в середине 1960-х годов вместе с Дрицом заправлял тотализатором во втором отряде. Рафи Реджини был и дипломатом, и настойчивым человеком одновременно. Он принимал ставки на что угодно: на скачки, футбол, бокс, драки во дворе, шахматные матчи. Однажды он принял ставки на то, что именно парни получают на пасхальный обед в 1965 году. Дриц говорит, что Рафи Реджини разработал систему курьерской доставки тараканами. Вы все еще пользуетесь системой доставки тараканами? Выигрыши выплачивались в основном табаком для самокруток, но братва начала поднимать вонь из-за задержек с получением законного выигрыша в вечернее время, когда сигарета как раз ценнее всего на свете. Чтобы выделить себя из других потенциальных букмекеров, Рафи Реджини и придумал тараканью почтовую службу. Он держал целую коллекцию жирных откормленных тараканов в жестянке из-под ананасов у себя под кроватью. Чертовски сильные были те тараканы, надо сказать. Используя нитки, выдернутые из одеяла и простыни, Рафи наловчился привязывать к спине таракана три тонких самокрутки и просовывать его под дверь камеры, наставляя на путь к своему предполагаемому клиенту. Но как убедиться, что таракан пойдет туда, куда нужно? Рафи начал экспериментировать со своими маленькими курьерами. Вскоре он понял, что тараканы идут в определенных направлениях, в зависимости от того, какая нога из шести у них оторвана. Если оторвать переднюю ногу, то таракан начнет двигаться в северо-восточном или северо-западном направлении. Удалите среднюю левую, и таракан будет отклоняться влево так сильно, что начнет описывать круги против часовой стрелки. Уберите среднюю правую, и он начнет кружить по часовой. Посадите такого таракана вплотную к стене, и он побежит вдоль нее по прямой линии и будет благодарен за это. Если Рафи требовалось доставить посылку Бену Банагану, сидящему через семь камер по коридору по левую сторону, то он отрывал таракану среднюю левую ногу и отправлял в великое путешествие с сигаретой, на которой были нацарапаны номер камеры предназначения и имя «Банаган». Храбрый таракан сворачивал под каждую дверь на своем пути, а братва, связанная кодексом чести, исправно отправляла его снова и снова в славную одиссею вдоль стены. Я все думаю о том, какими же нежными должны были быть их руки. Все эти убийцы, грабители и мошенники. Думаю, у них было время быть нежными. Все время мира. В последнее время я думаю, Алекс, что каждая проблема в мире, каждое преступление, когда-либо совершенное, может быть прослежено до чьего-либо отца. Грабежи, изнасилования, терроризм, Каин против Авеля, Джек Потрошитель – все это восходит к отцам. Возможно, и к матерям тоже, я допускаю, но в этом мире нет ни одной дерьмовой матери, которая не была бы в первую очередь дочерью дерьмового

отца. Не рассказывай мне, если не хочешь, но я был бы рад узнать о твоём отце, Алекс. Он был хорошим? Он был порядочным? Был ли он в тюрьме? Благодарю за твои мысли по поводу моего отца. Ты справедливо подметил. В каждой истории есть две стороны, я считаю. Я спрашивал маму про новые серии «Дней нашей жизни». Она сказала передать тебе, что у Марии наблюдаются признаки улучшения в больнице. Лиз приходила в отделение интенсивной терапии, чтобы признаться, но когда Мария очнулась, то сказала, что там было слишком темно, чтобы узнать нападавшего, поэтому Лиз держит рот на замке и, кажется, вполне способна жить с чувством вины. Первое слово, которое Мария произнесла, когда очнулась, было «Нил». Но, хотя Нил являлся её настоящей любовью, она сказала, что никогда не сможет стать его женой, и дала ему согласие, чтобы он остался с Лиз и их ребенком.

С нетерпением жду ответа.

Илай.

Р. С. Я приложил копию поэмы Омара Хайяма «Рубайят». Дришц говорит, что она помогла ему выдержать тюрьму. Она о хорошем и плохом в жизни. Плохо то, что жизнь коротка и должна закончиться. А хорошо то, что она протекает с хлебом, вином и книгами.

– Дришц.

– Да, малыш?

– Артур Дейл. То новое имя, которое ты взял.

– Ну и?

– Дейл.

– Ну, ну?

– Это же имя того тюремщика, офицера Дейла.

– Ага, – говорит Дришц. – Мне требовалось джентльменское имя, а офицер Дейл был наиболее близок к моему понятию джентльмена. Ближе, чем кто-либо другой.

Воспоминание об офицере Дейле уводит мысли Дришца к его первому сроку в начале 1940-х.

– Видишь ли, малыш, за решеткой встречаются все сорта скверны, – продолжает он. – Парни, которые начали хорошо, но превратились в плохих; парни, которые кажутся плохими, но вовсе не плохие; а еще там есть парни, у которых порок в крови и костях, потому что они с этим родились. Ровно так же можно описать добрую половину надзирателей в Богго. Они пошли на эту работу, потому что их тянуло к себе подобным, ко всем этим насильникам, убийцам и психопатам, которых они якобы пытались перевоспитать, но на самом деле все, что они делали, – это кормили своих же злобных зверей, которые раньше дремали в клетках их собственных гребаных голов.

– Но не офицер Дейл.

– Нет, не офицер Дейл.

После первой попытки побега надзиратели Богго-Роуд крепко поприжали Дришца, рьяно обыскивая его по нескольку раз на дню. Во время этих обысков у сотрудников вошло в привычку бить Дришца по башке, чтобы тот развернулся; пинать его в задницу, когда они хотели, чтобы он наклонился; пихать в нос, если им было нужно, чтобы он сделал шаг назад. Однажды Дришц не выдержал и сорвался, находясь в своей камере, – начал хватать куски из помойного ведра и швырять их через решетку в офицеров. Они вернулись, чтобы охолонуть его ледяной водой под напором из пожарного шланга. Затем один из офицеров принес два ведра кипятка с тюремной кухни. Другой офицер начал тыкать Дришца через решетку раскаленной кочергой.

– Эти офицеры терроризировали меня так, будто я был каким-то бультерьером, которого они готовили к собачьим боям, – говорит Дришц. – А у меня имелась самодельная заточка, которую я хранил под подушкой, и я схватил ее и всадил одному из этих хмырей в руку. Я махал перед ними заточкой, плевался и исходил пеной, как бешеный пес. Дальше начался настоящий ад, но посреди всего этого безумия нашелся один человек, офицер Дейл, который заступился

за меня. Он орал на этих больных ублюдков, чтобы они оставили меня в покое, что с меня хватит. И я помню, как смотрел на него и видел все будто в замедленном темпе, и думал, что истинный характер лучше всего проявляется в аду, что настоящая доброта несомненно виднее всего в преисподней, где все шиворот-навыворот – где зло процветает, а добродетель считается за слабость – вы понимаете, о чем я?

Дрищ улыбается и смотрит на Августа. Август кивает Дрищу, одному из тех людей, кто понимает кивки Августа, словно они вместе мотали срок, будучи соседями по камере Д-9.

– Понимаете, – продолжает Дрищ, – ты словно погружаешься так глубоко в ад, что подмигивание дьявола начинает ощущаться, как будто тебе передергивает затвор сама Дорис Дэй, улавливаете мою мысль?

Август опять кивает.

– Полегче, Гус, а то голова отвалится, – говорю я. – Ты ведь даже не знаешь, кто такая Дорис Дэй¹⁶.

Август пожимает плечами.

– Да это и не имеет значения, – говорит Дрищ. – Суть в том, что я находился в этом кошмаре наяву, среди всего этого хаоса, глядя на офицера Дейла, наблюдая, как он пытается заставить тех парней от меня отвязаться. Я был так чертовски тронут этим поступком, что думаю, у меня выступили слезы на глазах. Зато потом я уж точно огреб полную панамку слез, потому что вторая волна вертухаев пришла с противогазами и они забросали мою камеру гранатами со слезоточивым газом. Они вышибли из меня все дерьмо, это уж как полагается, и сразу же потащили меня в Черного Питера. Моя одежда была все еще мокрой после пожарного шланга. А дело происходило прямо в середине зимы. Никакого одеяла. Никакого матраса. Все возмущаются по поводу четырнадцати дней в Черном Питере в жару. Но я бы охотно выменял четырнадцать дней в жару на одну ночь в Черном Пите посреди зимы, да еще и мокрым, как мышь. Продрожал там всю ночь, думая только об одном...

– Что в каждом есть доброта? – спрашиваю я.

– Нет, малыш. Не в каждом. Только в офицере Дейле, – отвечает Дрищ. – Но это заставило меня задуматься о том, что если у офицера Дейла по-прежнему осталась доброта после столь долгой работы среди тех прочих ублюдков, то и во мне может остаться немного добра, когда я выберусь из Черного Питера; или когда я выйду из тюрьмы насовсем.

– С новым именем ты новый человек, – говорю я.

– Это казалось хорошей идеей в Дыре, – кивает Дрищ.

Я беру «Юго-западную звезду». На одной из сопровождающих статью картинок изображен Дрищ в 1952 году, сидящий в задней комнате Саутпортского суда. Он в кремовом костюме, в белой рубашке с твердым воротником, курит сигарету. Он выглядит так, будто находится в Гаване, на Кубе, и ему вовсе не светит впереди камера, в которой предстоит провести следующие двадцать четыре года жизни.

– Как тебе это удалось? – спрашиваю я.

– Удалось что?

– Как ты выживал так долго и не...

– И не наглотался бритвенных лезвий, обернутых резинкой?

– Ну, я собирался сказать «и не сдался», но... да, и это тоже?

– В этой статье есть кое-какая полуправда насчет той магической чепухи, как у Гудини, – говорит Дрищ. – То, что я делал в тюрьме, было чем-то вроде магии.

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду, что мог там управлять временем, – отвечает Дрищ. – Я стал настолько близок со временем, что мог манипулировать им, ускорять и замедлять. Иногда все, что тебе

¹⁶ Американская актриса и певица (1922–2019), известна с 1940-х гг.

хочется, – это ускорить его ход, так что приходилось обманывать свой мозг. Убеждаешь себя, что ты очень занят, говоришь себе, что в сутках не хватает часов, чтобы достичь всего, чего ты хочешь достичь. Под «достичь» я подразумеваю не то, чтобы там научиться играть на скрипке или получить степень по экономике. Я имею в виду реалистичные повседневные тюремные цели. Например, собрать достаточно катышков тараканьего дерьма в день, чтобы написать ими свое имя. А иногда, наоборот, свободное время пролетает слишком быстро, хотя ты ждал его, грызя ногти, как выхода двойного альбома Элвиса. Так много нужно сделать, так мало времени. Заправить постель, прочитать тридцатую главу «Моби Дика», подумать об Ирен, просвистеть «Ты мое солнышко» от начала и до конца, свернуть самокрутку, выкурить самокрутку, поиграть самому с собой в шахматы, снова поиграть в шахматы, потому что злишься на себя, так как проиграл первую партию, порыбачить мысленно у острова Бриби, порыбачить возле пристани Редклиффа, посчитать рыбу, выпотрошить рыбу, поджарить жирного плоскоголова на не слишком горячих углях на пляже Саттонс и смотреть, как садится солнце. Ты пытаешься угнаться за долбаными часами так усердно, что удивляешься, когда день заканчивается, а ты настолько устал от своего дневного расписания и этих дерьмовых игр разума, что зеваешь, едва коснувшись головой подушки в семь вечера, и ворчишь на себя, что встал слишком поздно и сократил свой выходной с обеих сторон.

Но потом, в хорошее время, в солнечные часы на прогулочном дворе, ты вдруг понимаешь, что можешь замедлить их, растянуть, управлять ими, словно это хорошо обученные лошади, и ты можешь превратить час, проведенный в цветочном саду, в половину дня, потому что ты живешь в пяти измерениях, и эти измерения – запахи, которые ты ощущаешь, предметы, до которых можешь дотронуться и попробовать на язык, звуки, которые ты слышишь, и все вокруг, что ты видишь, вещи внутри вещей, маленькие вселенные в каждой тычинке цветка, слой за слоем, потому что твое восприятие так усилено оттого, что нечем больше заняться внутри этих бетонных стен, с которых за тобой внимательно наблюдают всякий раз, когда тыходишь в тюремный сад, как будто ты Дороти из страны Оз в цветном фильме.

– Ты научился подмечать все детали, – говорю я.

Дриц кивает. Он смотрит на нас обоих.

– Никогда не забывайте, вы оба, что вы свободны, – произносит он. – Это ваши солнечные часы, и вы можете заставить их длиться вечно, если видите все детали.

Я тоже преданно киваю в ответ.

– Управлять своим временем, так, Дриц? – повторяю я.

Дриц снова гордо кивает.

– Прежде, чем оно управится с вами, – продолжает он.

Это излюбленный кусок мудростей Дрища.

Управляйте своим временем прежде, чем оно управится с вами.

Я помню, когда впервые услышал это от него. Мы стояли в машинном зале часовой башни Брисбен-Сити-Холла¹⁷, возвышающегося в центре города над Площадью короля Георга старого и славного здания из коричневого песчаника. Дриц привез нас сюда на поезде из Дарры. Он сказал, что внутри башни есть старый лифт, который поднимает людей прямо на вершину, и я не поверил ему. Он знал пожилого лифтера, Клэнси Маллетта, еще по своим фермерским денькам, и Клэнси говорил, что позволит нам подняться на лифте бесплатно, но когда мы приехали, лифт оказался на ремонте, и Дрищу пришлось убалтывать старого приятеля и намекать, на кого делать ставку в пятом забеге на ипподроме «Игл Фарм», чтобы убедить того провести нас по тайной лестнице, предназначенной только для персонала Сити-Холла. Темная лестница на башню казалась бесконечной, и Дриц с лифтером Клэнси хрипели всю дорогу, а мы с Авгу-

¹⁷ Центральное административное здание Брисбена; мэрия.

стом так же всю дорогу смеялись. Затем мы ахнули, когда Клэнси открыл хлипкую дверь, которая вела в машинное отделение с вращающимися шкивами и шестеренками – часовым механизмом городских часов, приводящим в действие четыре циферблата на башне. Северный, южный, восточный и западный, каждый с гигантскими черными стальными стрелками, отсчитывающими минуты и часы каждого брисбенского дня. Дриц загипнотизированно смотрел на эти стрелки десять минут подряд, а затем сказал нам, что время – древний враг. Он сказал, что время убивает нас не спеша. «Время поглотит вас, – сказал он. – Так что управляйте своим временем прежде, чем оно управится с вами».

Лифтер Клэнси проводил нас к очередному секретному лестничному пролету, который вел из машинного отделения на смотровую площадку, где Дриц сказал, что брисбенские дети обычно бросали через перила монеты и загадывали желания, пока те летели вниз семьдесят пять метров до крыши Сити-Холла.

– Я желаю иметь больше времени, – сказал я, бросая через перила медную монетку в два цента.

И время пришло.

– Зажмите уши! – улыбнулся Клэнси, поднимая глаза к огромному синему стальному колоколу, который я сперва не заметил над нами. И колокол оглушительно пробил одиннадцать раз, едва не разорвав мне барабанные перепонки, и я изменил свое желание на другое, чтобы время остановилось в тот момент, и чтобы это желание сбылось.

* * *

– Ты видишь все детали, Илай? – спрашивает Дриц через стол.

– А? – вскидываюсь я, возвращаясь в настоящее.

– Ты улавливаешь все детали?

– Да-а, – отвечаю я, озадаченный испытующим взглядом Дрица.

– Ты ухватываешь все эти периферийные штуки, малыш? – спрашивает он.

– Конечно. Всегда, Дриц. До мельчайших подробностей.

– Но ты пропустил самое интересное, что есть в этой статье.

– Неужели?

Я изучаю статью, снова просматриваю слова.

– Подпись, – говорит он. – В нижнем правом углу.

Подпись, подпись. Нижний правый угол. Глаза бегут ниже, ниже, ниже, по типографским словам и картинкам.

Вот она. Вот подпись.

– Какого хрена, Гус!

Я буду отныне ассоциировать это имя с днем, когда я научился управлять временем.

Это имя – «Кэйтлин Спайс»¹⁸.

Дриц и я пристально смотрим на Августа. Он молчит.

¹⁸ Эта надпись – Кэйтлин Спайс (Caitlyn Spies) – по-английски пишется так же, как «Кэйтлин шпионит» (Caitlyn spies).

Мальчик убивает быка

Я вижу маму через полуоткрытую дверь спальни. Она стоит в своем красном выходном платье перед зеркалом, висящим на внутренней стороне дверцы шкафа, и застегивает на шее серебряное ожерелье. Как может любой мужчина в здравом уме не быть счастливым в ее присутствии, не быть довольным, не быть благодарным за то, что по возвращению домой его встретит она?

Почему мой отец положил на все это большой и толстый хрен? Это переполняет меня яростью. Она так офигительна, моя мама. К чертовой бабушке всех и каждого из тех озабоченных придурков, которые смели приблизиться к ней на расстояние шага, не получив сперва на это право у Зевса.

Я проскальзываю к ней в спальню и сажусь на кровать рядом с ней и зеркалом.

– Мам?

– Да, дружок?

– Почему ты сбежала от моего отца?

– Илай, я не хочу говорить об этом сейчас.

– Он плохо с тобой обращался, ведь так?

– Илай, этот разговор...

– ...Состоится, когда я подрасту, – заканчиваю я за нее. Все, переход к новой строке.

Мама слегка улыбается в зеркало шкафа. Наполовину смущенная, наполовину тронутая моим беспокойством.

– Твой отец был нездоров, – говорит она.

– Мой отец хороший человек?

Мама думает. Мама кивает.

– Мой отец – он скорее как я или скорее как Гус?

Мама думает. Мама ничего не отвечает.

– Гус тебя когда-нибудь пугает?

– Нет.

– Меня он иногда пугает до усрачки.

– Следи за языком.

Следить за языком? За языком следить, говоришь? Что меня в действительности пугает до усрачки, так это когда правда о нелегальных операциях с героином сталкивается с миражом семейных ценностей в духе фон Траппа¹⁹, который мы выстроили вокруг себя.

– Прости, – говорю я.

– Что именно тебя пугает? – спрашивает мама.

– Ну не знаю, то, что он пытается сказать, то, что он пишет в воздухе своим волшебным пальцем. Иногда это не имеет никакого смысла, а иногда смысл появляется только через два года или через месяц, и раньше Гус никак не мог знать, что это будет иметь смысл.

– Что, например?

– Кэйтлин Спайс.

– Кэйтлин Спайс? Кто это – Кэйтлин Спайс?

– Это как раз пример. Мы понятия не имеем, что бы это значило, но какое-то время назад мы с Дришом валяли дурака в «Лэндкрузере» и наблюдали, как Август пишет свои маленькие послания в воздухе, и заметили, что он пишет это имя снова и снова. Кэйтлин Спайс, Кэйт-

¹⁹ Барон Георг фон Трапп (1880–1947) – вместе с женой Марией (1905–1987) и десятью детьми – прототип книги «История поющей семьи фон Трапп», а также голливудского фильма «Звуки музыки» (1965) и одноименного бродвейского мюзикла (1959), основанных на книге.

лин Спайс, Кэйтлин Спайс. А потом, на прошлой неделе, мы читали большую статью в «Юго-западной звезде», из того большого цикла «Квинсленд помнит», и она вся целиком была о Дрище, полная история Гудини из Богго-Роуд, и она получилась действительно интересной, а затем мы увидели имя женщины, которая это написала – ну, вернее, собрала выжимки из старых газет – внизу, в правом нижнем углу страницы.

– Кэйтлин Спайс, – говорит мама.

– Как ты догадалась?

– Ты вроде как подводил дело к этому, дружок.

Она подходит к своей шкапулке для украшений, стоящей на белом комод.

– Очевидно, он читал ее статьи в местной газетенке. Наверно, ему просто понравилось, как ее имя звучит в его голове. Он так делает – цепляется за имя или за слово и прокручивает его снова и снова в уме. Если он не произносит слова вслух – это еще не означает, что он их не любит.

Мама сжимает в руке две серьги с зелеными камушками, наклоняется ко мне и произносит мягко и бережно:

– Этот мальчик любит тебя больше, чем что-либо в этой Вселенной. Когда ты родился...

– Да знаю я, знаю.

– ...Он так внимательно следил за тобой, охранял твою кроватку, словно жизнь всего человечества зависела от этого. Я не могла оттащить его от тебя. Он самый лучший друг, который у тебя когда-либо будет.

Она выпрямляется и поворачивается к зеркалу.

– Как я выгляжу?

– Ты выглядишь прекрасно, мама.

Хранительница молний. Богиня огня, войны, мудрости и красного «Уинфилда».

– Овца в шкуре ягненка, – вздыхает мама.

– Что это значит?

– Я старая овца, которая вырядилась, как юный ягненок.

– Не говори так, – возражаю я обиженно.

Она видит мое настроение в зеркале.

– Эй, я просто шучу! – говорит она, вставляя сережки.

Я ненавижу, когда она так принижает себя. Я убежден, что чувство собственного достоинства весьма важно соблюдать во всем, от нашей жизни на этой улице и до моего сегодняшнего вечернего наряда: желтой рубашки поло и черных брюк-саксов, купленных в соседнем пригороде Оксли в социальном магазине Общества святого Винсента де Поля.

– Знаешь, ты слишком хороша для этого места, – брякаю я.

– Ты о чем?

– Ты слишком хороша для этого дома. Ты слишком умна для этого города. И ты чересчур хороша для Лайла. Что мы делаем тут, в этой выгребной яме? Нам здесь даже срать садиться не стоило бы.

– Ну ладно, корешок, спасибо за предупреждение. Я думаю, тебе можно уже идти заканчивать собираться, да?

– Все те мудаки липли к ягненку, потому что она сама всегда думала, что она овца.

– Все, Илай, достаточно.

– Ты знаешь, что тебе следовало бы стать адвокатом. Тебе следовало бы стать врачом. А не долбаным торговцем наркотиками.

Ее тяжелый удар обрушивается на мое плечо даже раньше, чем она разворачивается.

– Убирайся из моей комнаты, Илай! – рявкает она. Еще один удар в мое плечо с ее правой руки, затем еще один в другое плечо с левой.

– Пошел отсюда к черту! – кричит она. Она стискивает зубы так плотно, что я вижу, как искажается ее верхняя губа, ее грудь колыхнется от глубокого частого дыхания.

– Кого мы обманываем? – выпаливаю я. – Следить за языком? Мне следить за языком? Мы гребаные наркодилеры. Наркодилеры, бляха-муха! Меня блевать тянет от всей этой собачьей чуши и благодати, которую вы тут с Лайлом изображаете. «Садись за уроки, Илай! Доешь свои гребаные брокколи, Илай! Приберись в кухне, Илай! Учись хорошо, Илай!» Как будто мы сраная «Семейка Брейди» или еще что-то в этом роде, а не просто грязная кучка толкачей дури. «Илай, подай мне гребаный хлеб...»

И тут я отлетаю. Две руки обхватывают меня сзади под мышками, и я лечу, отброшенный от кровати мамы и Лайла, и ударяюсь в дверь их спальни сперва лопатками, затем головой. Я отскакиваю от распахнувшейся двери и падаю на полированные деревянные половицы грудой костей. Лайл нависает надо мной и пинает меня в задницу так сильно своей кроссовкой – это типа его выходные ботинки, шаг вперед по сравнению с резиновыми шлепанцами, – что я проезжаю на животе пару метров по коридору прямо к босым ногам Августа, который выдает удивленное:

Это снова? Так быстро? Он смотрит на Лайла.

– Пошел на хрен, баран укуранный! – кричу я, взбешенный и оглушенный, пытаюсь встать на ноги.

Лайл снова пинает меня в задницу, и на этот раз я въезжаю по полу в гостиную.

Мама кричит позади него:

– Прекрати, Лайл! Хватит!

Но на Лайла накатила красная пелена ярости, которую я, к своему несчастью, видел ранее трижды. Первый раз, когда я убежал из дома и проспал ночь в пустом автобусе во дворе срочной автомастерской в Редлендсе. Другой раз, когда я засунул шесть тростниковых жаб в морозилку, чтобы усыпить гуманной смертью, а те, выносливые и противные глазу амфибии, выжили в этом гробу с минусовой температурой, стойко перенесли все трудности и дождались момента, когда Лайл, решивший выпить после работы рома с колой, открыл морозилку и обнаружил там парочку жаб, подмигивающих ему с подноса для льда. А третий раз – когда я присоединился к своему однокласснику, Джоку Уитни, в сборе средств по соседям для Армии спасения – мы ходили и стучали в двери, вот правда собирали мы деньги исключительно ради того, чтобы купить игру «Е.Т. – Инопланетянин» для «Атари». Я до сих пор чувствую себя из-за этого отвратительно – игра оказалась настоящим куском говна.

Август, мой дорогой, чистый сердцем Август встает перед Лайлом, который примеривается для третьего пинка. Он качает головой, удерживая Лайла за плечи.

– Все в порядке, приятель, – говорит Лайл. – Просто пришло время Илаю и мне немного потолковать.

Он протискивается мимо Августа и хватает меня за воротник поло из социального магазина, а затем выталкивает за входную дверь. Он тащит меня вниз по ступеням крыльца, и дальше по дорожке, через калитку, все еще держа за воротник, и его крупные кулаки уличного бойца больно давят мне на шею сзади.

– Иди-иди, умник, – приговаривает он. – Шевели копытами.

Он ведет меня через улицу под светом луны, сияющей над нами, как уличный фонарь, в парк напротив нашего дома. Все, что я чувствую, – запах лосьона после бритья от Лайла. Все, что я слышу, – звук наших шагов и стрекот цикад, потирающих свои лапки, будто они тоже взволнованы от напряжения, висящего в воздухе; потирающих лапки, как Лайл потирает руки перед полуфиналом «Илз».

– Что за хренотень на тебя нашла, Илай? – спрашивает он, подталкивая меня через овал нескошенной травы на крикетной площадке. Я продолжаю брыкаться, и высокая травка «паспалум», похожая на черный мех, набивается мне в штанины. Он ведет меня к центру поля для

крикета и там отпускает. Он расхаживает взад-вперед, поправляя пряжку на поясе, вдыхая, выдыхая. На нем кремовые брюки и голубая хлопковая футболка с белым кораблем, идущим под всеми парусами.

Только не плакать, Илай. Не плачь. Не плачь. Черт! Ты тряпка, Илай.

– Почему ты плачешь? – интересуется Лайл.

– Не знаю, я на самом деле не хотел. Мой мозг не слушается меня.

Я плачу еще сильнее, осознав это. Лайл дает мне минуту. Я вытираю глаза.

– Ты в порядке? – спрашивает Лайл.

– Жопа жжет немножко.

– Извини за это.

Я пожимаю плечами:

– Я это заслужил.

Лайл дает мне еще немного времени.

– Ты когда-нибудь задумывался, почему ты так легко плачешь, Илай?

– Потому что я тряпка.

– Ты не тряпка. Никогда не стыдись слез. Ты плачешь, потому что тебе не насрать на все.

Никогда не стыдись равнодушия. Так много людей в этом мире слишком боятся плакать, потому что они слишком боятся быть равнодушными.

Лайл отворачивается и смотрит на звезды. Он садится на крикетную площадку для лучшего обзора, смотрит вверх и постигает Вселенную, все эти мерцающие космические кристаллы.

– Ты прав насчет своей мамы, – говорит он. – Она слишком хороша для меня. И всегда так было. Насколько я понимаю, она слишком хороша для кого угодно. Она слишком хороша для этого дома. Она слишком хороша для этого города. И – слишком хороша для меня.

Лайл указывает на звезды.

– Она будто откуда-то с Ориона.

Я пристраиваю свою ноющую задницу рядом с ним.

– Ты хочешь выбраться отсюда? – спрашивает он.

Я киваю и смотрю на Орион, скопление чистого света.

– Так я тоже, приятель, – говорит Лайл. – Для чего, ты думаешь, я беру подработку у Титуса?

– Какое прекрасное выражение. «Подработка». Интересно, Пабло Эскобар так же это называет?

Лайл опускает голову.

– Я знаю, что это чертовски быстрый способ заработать, приятель.

Какое-то время мы сидим в молчании. Затем Лайл поворачивается ко мне.

– Давай заключим с тобой сделку.

– Ну?

– Дай мне шесть месяцев.

– Шесть месяцев?

– Куда ты хочешь переехать? Сидней, Мельбурн, Лондон, Нью-Йорк, Париж?

– Я хочу переехать в Гэп.

– В Гэп? С какого хрена ты хочешь переехать в Гэп?

– В Гэпе замечательные «аппендиксы».

Лайл смеется.

– «Ап-пен-дик-сы», – повторяет он, качая головой. И снова поворачивается ко мне, резко посерьезнев. – Это будет отлично, приятель, – говорит он. – Это будет так хорошо, что ты даже забудешь, что когда-то было плохо.

Я смотрю на звезды. Орион намечает свою цель, и натягивает свой лук, и выпускает свою стрелу прямо и точно в левый глаз Тельца, и буйный бык повержен.

– Договорились, – киваю я. – Но при одном условии.

– При каком? – спрашивает Лайл.

– Ты позволишь мне работать вместе с тобой.

От нашего дома до вьетнамского ресторана Бич Данг можно дойти пешком. Ресторан называется «Мама Пхэм», в честь коренастого гения кулинарии, мамы Пхэм, которая научила Бич готовить в ее родном Сайгоне в 1950-е годы. Вывеска «Мама Пхэм» на фасаде мигает зеленым неоновым светом на фоне красного задника в восточном стиле, но неоновая буква «П» сломанная и тусклая, так что ресторан на протяжении последних трех лет выглядит для прохожих скорее похожим на заведение, где подают в основном свинину и бекон, под названием «Мама хэм» – мама-ветчина. Лайл держит в левой руке упаковку из шести бутылок горького пива и открывает стеклянную входную дверь «Мамы Пхэм» для нашей мамы, которая проскальзывает мимо него внутрь в своем красном платье и черных туфлях на высоком каблуке, вытащенных из-под кровати. Август проходит следующим, с небрежно зачесанными назад волосами, в розовой футболке, заправленной в серебристо-серые слаксы, купленные в социальном магазине на Дарра-Стейшен-роуд, расположенном через семь или восемь магазинов отсюда, подальше от «Мамы Пхэм».

Внутри «Мама Пхэм» размером с кинозал. Здесь более двадцати круглых обеденных столов с вращающимися подносами на восемь, десять, иногда двенадцать человек за столом. Красивые вьетнамские матери с накрашенными лицами и неподвижными прическами и обычно спокойные вьетнамские отцы расслаблены и от души хохочут за пивом, вином или чаем. Великое множество разнообразных океанских гадов разложено на подносах в центре каждого стола – и в кларе, и в масле, и вареные, и панированные, и соленые, и перченые, и цельные глубоководные левиафаны из реки Меконг и отовою за ее пределами, тут может быть и сам Нептун; толстые неуклюжие нижние губы и слизистые усы разноцветных щупалец – зеленые, и темно-зеленые, и сине-зеленые, и серо-зеленые, коричневые, черные и красные. Бич Данг владеет многими акрами земли на задворках Дарры, помимо польского миграционного центра, с почвой, как шоколадный торт, где ее старые морщинистые мудрые фермеры выращивают груды кориандра «рау рам», листьев «шисо», мяты «хунг кей», базилика, лимонника и вьетнамского бальзамина, которые сегодняшние посетители передают друг другу, словно играют в какую-то игру на детской вечеринке под названием «Руки через стол». Огромный зеркальный шар сверкает над нами, а на сцене блистает вьетнамская ресторанный певица – на ней пурпурный блестящий макияж и бирюзовое платье с блестками, которое бликует, как могла бы бликовать русалочья чешуя на мелководе Меконга. Она исполняет песню «Вызывая пассажиров межпланетных кораблей» группы «The Carpenters», раскачиваясь под трескучую фонограмму-минусовку, и почему-то выглядит инопланетянкой, как будто только что прилетела в Дарру на своем корабле, который сейчас вызывает через этот старый микрофон. На стенах красные нити мишуры, развешенной над аквариумами с зубаткой, треской, красной рыбой-императором и жирным морским окунем с выпученными глазами, словно его шарахнули по башке крикетной битой. Рядом еще два аквариума – для раков и грязевых крабов, которые всегда выглядят так, будто смирились с тем фактом, что сегодня отправятся на фирменное блюдо. Они расселись на дне среди камней возле дешевого декоративного подводного замка, такие же безмятежные, как у себя дома в заболоченной речной протоке, – вылитые фермеры на отдыхе, им не хватает только гармошки и соломинки во рту. Они не осознают своей важности и не подозревают о том, что они причина, по которой люди приезжают издалека к Солнечному берегу, чтобы отведать их мяса, запеченного в соли с перцем и пастой чили.

Лестница с правой стороны ресторана ведет на второй уровень – на балкон с еще десятью круглыми столами, где «Отвали-Сука» Данг рассаживает своих особо важных гостей, и сегодня только один важный гость, и его имя написано на баннере, растянутом через перила балкона верхнего уровня: «Счастливого 80-летия, Титус Броз!»

– Лайл Орлик, сын Аврелия! – величественно произносит Титус Броз, стоя на балконе и приветственно простирая руки над перилами. – Похоже, Бич звонила во все колокола, трубила во все трубы и приложила все силы, чтобы отпраздновать мое восьмое десятилетие на этой доброй планете!

Титус вызывает у меня мысли о костях. На нем костюм цвета белой кости, рубашка цвета белой кости и галстук цвета белой кости. Его ботинки – из коричневой лакированной кожи, а волосы такие же белые, как его костюм. Его тело все – как одна большая кость, высокая и тонкая, и он улыбается, как улыбался бы учебный скелет, если бы соскочил с крюка в кабинете биологии и начал танцевать, как Майкл Джексон в клипе «Билли Джин», который Август и я любим чуть ли не больше лимонада. Скулы Титуса округлые, как выпученные глаза окуня в аквариуме Бич Данг, но сами щеки постепенно запали внутрь за восемьдесят лет жизни на Земле, и когда его губы дрожат – а они все время дрожат – это выглядит так, словно он постоянно сосет фисташку или высасывает человеческую печень, как летучая мышь-вампир.

Титус Броз вызывает у меня мысли о костях, потому что он сделал на костях целое состояние. Титус Броз – босс Лайла в «Человеческом прикосновении». Это квинслендский центр протезирования и ортопедии с собственным производством, которое расположено в пригороде под названием Морука, в десяти минутах езды от нашего дома. Лайл работает там механиком, обслуживает станки, которые делают искусственные руки и ноги для пациентов с ампутированными конечностями по всему штату. Титус Броз, Повелитель Конечностей, чья длинная натуральная рука незримо простирается над нашими с Августом жизнями последние шесть лет, с тех пор как Лайл получил работу в «Человеческом прикосновении» с помощью своего лучшего друга, Тадеуша «Тедди» Калласа, человека с толстыми черными усами, сидящего через четыре белых пластиковых стула справа от Титуса за ВИП-столом. Тедди тоже механик в «Человеческом прикосновении». И Тедди тоже, как я давно подозреваю, имеет нехилый побочный доход, «подрабатывая» у Титуса Броза, как выразился Лайл сегодня вечером. Рядом с Тедди сидит черноволосый мужчина в сером костюме и бордовом галстуке, и как постоянный читатель газет я отмечаю, что он выглядит чертовски похожим на члена нашего местного совета, Стивена Бурка, человека, каждый год присылающего нам намагниченные календарики, которыми мама прикрепляет списки покупок на холодильник. Он отпивает белого вина из бокала. Да, точно – теперь я уверен, что это наш местный депутат. «Стивен Бурк – ваш местный лидер!» – утверждают календарики. Стивен Бурк, по правую руку за столом от Титуса Броза, «нашего местного дилера».

От того, что Титус Броз напоминает мне кучу костей каждый раз, когда я вижу его – а это только моя вторая встреча с ним, – у меня мурашки бегут по спине. Сейчас он улыбается мне, и улыбается маме, и улыбается Августу, но я не покупаюсь на улыбку этого фисташкососа ни на секунду. Не знаю, почему. Просто чувствую нечто спинным мозгом.

В первый раз я увидел Титуса Броза два года назад, когда мне было десять. Лайл повез нас с Августом на роликовый каток в Стаффорде, но по пути ему нужно было заскочить на работу в Моруку, чтобы починить неисправный рычаг на формовочном механизме, отливающим искусственные руки и ноги, за счет которых оплачивались белые костюмы Титуса Броза. Это место раньше было старым складом, до того, как его перестроили в современное производственное предприятие полного цикла «Человеческое прикосновение». На территории находился здоревенный алюминиевый ангар размером с теннисный корт, с гигантскими потолочными вентиляторами для борьбы с невыносимой жарой внутри раскаленного солнцем металлического

корпуса, наполненного тысячами искусственных конечностей – на крюках и на полках, вдоль которых сутились формовщики, придающие им очертания человеческого тела, и механики, вкручивающие винты в поддельные сгибающиеся колени и фальшивые сгибающиеся локти.

– Ничего не трогать! – приказал Лайл, ведя нас мимо бесконечных ног, выстроившихся в ряд, как труппа «Мулен Руж», чудесным образом исполняющая канкан без своих торсов. Мы прошли через ряды подвешенных на крюках к потолку рук, которые касались моего лица, когда мы сквозь них пробирались, и я представил, что это руки мертвых рыцарей короля Артура, насаженных на торчащие в земле длинные копья, и их руки тянутся за помощью к Августу и ко мне, но мы никак не можем помочь, потому что Лайл велел нам ничего не трогать, даже протянутую руку великого сэра Ланселота дю Лака. Я видел, как эти руки и ноги оживают, тянутся ко мне, хватаются за меня, пинают. Тот склад был концом сотен плохих фильмов ужасов и началом сотен ночных кошмаров, которые мне еще предстояло пережить.

– Это ребята Фрэнсис, Август с Илаем, – представил нас Лайл, проводя в кабинет Титуса Броза в задней части склада. Август был выше и старше, поэтому вошел в кабинет первым, и именно Август покори́л Титуса с самого начала.

– Подойди поближе, юноша, – сказал Титус.

Август взглянул на Лайла в поисках поддержки и подсказки, как отвертеться, но Лайл ничего такого не сказал, а просто кивнул Августу, намекая, что следует быть вежливым и подойти к человеку, благодаря которому на нашем столе каждый вечер мясо и три вида овощей.

– Дай мне руку, – произнес Титус, сидящий на вращающемся стуле за антикварным письменным столом красного дерева. Над столом висела картина в раме, изображающая гигантского белого кита. Как сообщил мне Лайл позже, это был Моби Дик из любимой книги Титуса Броза о неуловимом ките, преследуемом обсессивно-компульсивным ампутантом, которому не помешал бы филиал центра протезирования и ортопедии «Человеческое прикосновение» на острове Нантакет. Вскоре после этого я спросил Дрища, читал ли тот «Моби Дика», и он ответил, что читал дважды, так как книга стоит того, чтобы ее перечитать, хотя во второй раз он и пропустил кусок, где писатель повествует обо всех различных видах китов, встречающихся по миру. Я попросил Дрища рассказать мне всю историю целиком от начала и до конца, и на протяжении двух часов, пока мы отмывали его «Лэндкрузер», он рассказывал мне эту захватывающую приключенческую сказку с таким энтузиазмом, что я захотел на обед нантакетскую рыбную похлебку и стейки из белого кита на ужин. Когда он описал капитана Ахава, его дико-глазое лицо, возраст, худобу и бледность, я представил Титуса Броза на китобойном судне, рявкающего на сидящих высоко на мачте под бушующим ветром впереди смотрящих, требующего разглядеть его добычу, его белого кита, белого, как сам Титус Броз. «Лэндкрузер» Дрища превратился в Моби Дика, а садовый шланг – в гарпун, вонзенный в бок кита, и мы вцепились в резиновый шланг изо всех сил, пока кит тянул нас в бездну, а вода из шланга стала океаном, в который мы погружались все глубже, глубже, вниз к Посейдону, владыке морей и садовых шлангов.

Август протянул свою правую ладонь, и Титус осторожно сжал ее сразу двумя руками.

– Ммммммм, – промычал он, указательным и большим пальцами ощупывая каждый палец правой руки Августа, пробегая от большого пальца к мизинцу. – Ого, в тебе есть сила, не так ли?

Август ничего не сказал.

– Я говорю, в тебе есть сила, паренек, не так ли?

Август продолжал молчать.

– Ну-с... не могли бы вы ответить, молодой человек? – озадаченно спросил Титус.

– Он не разговаривает, – сказал Лайл.

– В каком смысле – не разговаривает?

– Он не произнес ни слова с шести лет.

– Он туповат? – спросил Титус.

– Нет, не туповат. Остр, как бритва, на самом-то деле.

– Он один из таких аутичных ребят, верно? Не может общаться, но может сказать мне, сколько песчинок в моих песочных часах?

– Он абсолютно нормальный, – произнес я сердито.

Титус развернулся на своем вращающемся стуле ко мне.

– Я вижу, – сказал он, изучая мое лицо. – Так это ты главный говорун в семействе?

– Я говорю, когда есть что-то, стоящее разговора, – ответил я.

– Мудро сказано, – заметил Титус.

Он потянулся ко мне.

– Дай мне руку.

Я протянул ему правую руку, и он обхватил ее своими мягкими старыми ладонями, такими мягкими, что казалось, они покрыты пищевой пленкой, которую мама хранила в третьем ящике книзу под кухонной раковиной.

Он сильно сжал мою руку. Я посмотрел на Лайла, и тот кивнул ободряюще.

– Ты боишься, – сказал Титус Броз.

– Вовсе нет, – ответил я.

– Боишься, я чувствую этот страх в твоём костном мозге.

– В смысле – внутри костей?

– Да, в твоём костном мозге, паренек. Ты со слабым стержнем. Твои кости крепкие, но пустые.

Он кивнул на Августа.

– Вот у этого Марсея Марсо²⁰ кости и крепкие, и налитые. Твой брат обладает силой, которой у тебя никогда не будет.

Август кинул на меня самодовольный взгляд и понимающе улыбнулся.

– Зато у меня сильные пальцы, – сказал я, показывая Августу оттопыренный средний палец.

И тут я заметил человеческую руку, лежащую на металлической подставке на столе Титуса.

– Это настоящая? – спросил я.

Рука выглядела настоящей и ненастоящей одновременно. Отделенной от тела, с ладонью, сложенной в аккуратную чашу. Все пять пальцев казались сделанными из воска или обернутыми в пищевую пленку, как, по ощущению, у самого Титуса.

– Да, настоящая, – сказал Титус. – Это рука шестидесятипятилетнего водителя автобуса по имени Эрни Хогг, который любезно пожертвовал свое тело Анатомическому театру студентов Квинслендского университета, чьи последние исследования по пластикации с наибольшим энтузиазмом спонсируются именно вашим покорным слугой.

– Что такое – «пластикация»? – спросил я.

– Это когда мы заменяем воду и жиры внутри конечности на определенные отверждаемые полимеры – на пластик – чтобы создать настоящую конечность, которую можно потрогать, изучить вблизи и воспроизвести, но мертвая донорская конечность больше не пахнет и не разлагается.

– Дичь какая, – сказал я.

Титус усмехнулся.

– Нет, – возразил он со странным и пугающим удивлением в глазах. – Это будущее.

На его столе стояла глиняная фигурка пожилого человека в цепях. Мужчина был в древнегреческой одежде, с нарисованными масляной краской полосками крови, стекающими по

²⁰ Марсель Марсо (Марсель Манжель, 1923–2007) – французский актер-мим, создатель парижской школы мимов.

обнаженной спине. Он застыл на середине шага, подняв туго перевязанную снизу ногу, у которой не хватало стопы.

– Кто это? – спросил я.

Титус повернулся к статуэтке.

– Это Гегесистрат, – ответил он. – Один из величайших ампутантов в истории. Он был древнегреческим прорицателем с сильными и опасными способностями.

– Что такое «прорицатель»? – спросил я.

– Прорицатель умел много чего. В Древней Греции прорицатели были вроде как ясновидящими. Они могли видеть то, что другие не видят, истолковывать знаки от богов. Они могли видеть грядущее – ценная способность на войне.

Я обернулся к Лайлу.

– Это же как Гус! – сказал я.

Лайл покачал головой:

– Ладно, завязывай, приятель.

– Ты о чем, паренек? – спросил Титус.

– Гус тоже видит грядущее. Как Гегизистрадамус или кто он там.

Титус бросил новый взгляд на Августа, который слегка улыбнулся и отступил назад, встав рядом с Лайлом.

– Что именно он видит?

– Просто всякие сумасшедшие штуки, которые иногда оказываются правдой, – сказал я. – Он пишет их в воздухе. Например, когда он написал «Парк-Террас» в воздухе и я ломал голову, о какой же чертовщине он толкует, а затем мама пришла домой и рассказала нам, что стояла на пешеходном переходе, когда ходила по магазинам в Коринде, и вдруг увидела старушку, которая шагнула прямо в поток машин. Просто кинулась в гущу всего этого, и срать она хотела на опасность...

– Следи за языком, Илай! – сердито сказал Лайл.

– Простите. Ну и вот, мама бросает все сумки, делает два шага вперед, дотягивается до этой бабки, хватает и дергает назад на тротуар, как раз когда здоровенный муниципальный автобус собирался ее размазать. Она спасла старушке жизнь. И угадайте, на какой улице это случилось?

– Парк-Террас? – выпучил глаза Титус.

– Нет, – сказал я. – Это произошло на Оксли-авеню, но! Потом мама провожает бабушку до ее дома в нескольких кварталах, а та не говорит ни слова вообще, просто смотрит ошалелым взглядом. Затем они подходят к старухиному дому, а входная дверь распахнута настежь, и одна из старых оконных створок сильно колотится о стену от ветра, а старуха говорит, что не может подняться по лестнице, и мама пытается ей помочь, но та совсем обезумела. «Нет, нет, нет, нет!» – стоит и кричит. А потом кивает маме, вроде как предлагает ей самой подняться по той лестнице. А поскольку у мамы тоже есть стержень внутри, то она поднимается по лестнице и ходит по дому, и все окна этого старого кориндского дома-квинслендера²¹ со всех четырех сторон открыты и стучат на ветру, и мама проходит через весь дом в кухню, где валяется бутерброд с ветчиной и помидорами, который едят мухи, и по всему дому воняет дезинфицирующим средством и еще чем-то более мрачным, более мерзким, пробивающимся сквозь этот запах, и мама проходит через гостиную и дальше по коридору, до самой хозяйской спальни, а дверь туда закрыта; и мама открывает ее и едва не падает в обморок от вони – в

²¹ Queenslander (букв. «Квинслендец») – тип дома, где лестница прямо с улицы либо из палисадника ведет ко входной двери на второй жилой этаж, вроде высокого крыльца; на первом или высоком цокольном обычно гараж и прочие подсобные помещения.

кресле возле двуспальной кровати сидит мертвый старик, его голова обернута пластиковым пакетом, а рядом стоит канистра с бензином. И угадайте, на какой улице стоял этот дом?

– Парк-Террас, – уверенно кивнул Титус.

– Нет, – покачал головой я. – Копы пришли в дом и по кусочкам восстановили картину происшествия, и они рассказали маме, как старуха нашла своего мужа в таком состоянии еще месяц назад, и была очень сердита на него, потому что он сказал ей, что собирается самоубиться, но она потребовала, чтобы он этого не делал, и тогда он сделал ей назло, и она так разозлилась и была в таком шоке, что просто притворилась, что его там нет. Она закрыла дверь в главную спальню и месяц разбрызгивала по дому отбеливатель, чтобы скрыть запах, который мешал ей заниматься повседневными делами, вроде приготовления бутербродов с ветчиной и помидорами на обед. Наконец, когда вонять стало слишком сильно, реальность шарахнула ее по голове, и она открыла все окна в доме и пошла напрямик к Оксли-авеню, чтобы броситься под автобус.

– Так когда уже появится Парк-Террас? – спросил Титус.

– А, ну к истории с мамой это не имеет отношения. Это Лайл в тот день получил штраф за превышение скорости на Парк-Террас, когда ехал на работу.

– Очаровательно, – только и сказал Титус.

Он взглянул на Августа, наклонившись вперед на вращающемся стуле. В его глазах мелькнуло что-то зловещее. Он был стар, но опасен. Эти запавшие щеки, эти белые волосы. Я ощущал нечто спинным мозгом. Это был капитан Ахав.

– Ну что ж, юный Август, начинающий прорицатель, будь добр, скажи мне, – начал он, – что ты видишь, когда смотришь на меня?

Август покачал головой, отмахиваясь от этой затеи.

Титус улыбнулся.

– Думаю, я стану присматривать за тобой, Август, – сообщил он, откидываясь обратно на спинку стула.

Я снова вернулся к статуэтке.

– Так как он потерял ногу? – спросил я.

– Он был схвачен кровожадными спартанцами и закован в колодки, – ответил Титус. – Но ему удалось сбежать, отрезав себе ступню.

– Готов спорить, этого они не предвидели, – заявил я.

– Нет, юный Илай, не предвидели, – рассмеялся он. – Так чему учит нас Гегесистрат?

– Всегда носить с собой пилу, когда путешествуешь по Греции, – предположил я.

Титус усмехнулся. Затем повернулся к Лайлу.

– Уметь жертвовать чем-то, – веско произнес он. – Никогда не привязываться ни к чему, что не можешь мгновенно от себя отрезать.

В обеденной зоне на верхнем этаже «Мамы Пхэм» Титус берет нашу маму обеими руками за плечи и целует в правую щеку.

– Добро пожаловать, – говорит он. – Спасибо, что пришли.

Титус представляет маму и Лайла женщине, сидящей сразу справа от него.

– Пожалуйста, познакомьтесь с моей дочерью Ханной, – говорит он.

Ханна поднимается со своего места. Она одета в белое, как и ее отец, и у нее блекло-белые волосы, какие-то бесцветные, будто из них высосаны все жизненные соки. Она такая же худая, как отец. Волосы прямые и длинные, закрывающие плечи белой блузки с длинными рукавами до самых кистей, которые она держит ниже кромки стола, когда встает. На вид ей может быть и сорок, и пятьдесят, но когда она заговаривает, то кажется тридцатилетней и стеснительной.

Лайл рассказывал нам о Ханне. Она причина, по которой он получил эту работу. Если бы Ханна Броз не родилась с руками, которые заканчивались сразу в районе локтей, то у Титуса

Броза никогда бы не появилось стимула превратить свой небольшой склад электрооборудования в цех по производству ортопедических изделий, который в свою очередь вырос в «Человеческое прикосновение» – настоящую находку для местных пациентов, таких как Ханна, и источник нескольких общественных наград, врученных Титусу во имя признания его вклада в реабилитацию инвалидов.

– Здравствуйте, – говорит Ханна тихо, улыбнувшись смущенной улыбкой, которая смогла бы осветить небольшой городок, если ей дать побольше времени. Мама протягивает ладонь для рукопожатия, и Ханна делает встречное движение, поднимая руку из-под стола, и эта рука вовсе не рука, а протез под белым рукавом; но мама, не моргнув глазом, хватая эту пластиковую руку телесного цвета и тепло ее пожимает. Ханна вновь улыбается, на этот раз немного дольше.

Если Титус Броз напоминает мне кости, потому что я сам весь костенею в его присутствии, то другой мужчина, который только что привлек мое внимание, – камень. Он будто целиком из камня. Каменный человек, уставившийся на меня. На нем черная рубашка с короткими рукавами. Он в возрасте, но не так стар, как Титус. Может, ему пятьдесят. Может, шестьдесят. Он один из тех крутых мужиков, знакомых Лайла, мускулистый и мрачный – вам придется разрубить его пополам, чтобы узнать возраст по кольцам внутри. Он просто пристально смотрит сейчас на меня, этот чувак. Среди всей этой суеты вокруг круглого обеденного стола этот каменный человек смотрит на меня, у него крупный нос, прищуренные глаза и седые длинные волосы, стянутые в хвост; но эти волосы начинаются с середины головы и выглядят так, словно их высосали из черепа с помощью пылесоса. Дриц всегда говорит о таких моментах: «маленькие фильмы внутри фильма твоей собственной жизни». Жизнь проживается в нескольких измерениях. Жизнь протекает с нескольких точек зрения. В данный момент – несколько человек болтают возле круглого обеденного стола, прежде чем рассестись по местам, – но на это мгновение можно взглянуть с разных сторон. В такие моменты время не просто движется вперед, оно может двигаться и в стороны, расширяясь для вмещения бесконечных точек зрения, и если вы сложите вместе все эти моменты с разными точками, у вас может получиться что-то близкое к вечности, включающей взгляды со всех сторон одновременно. Ну или что-то вроде того.

Никто не видит этот момент таким, каким его вижу я, вернее, каким он запомнится мне на всю оставшуюся жизнь из-за этого седовласого пугала с хвостом.

– Иван, – говорит ему Титус Броз, обнимая левой рукой Лайла за плечо и показывая на Августа, стоящего рядом со мной. – Это паренек, о котором я тебе рассказывал. Он не разговаривает, как и ты.

Человек, которого Титус назвал Иваном, переводит взгляд с меня на Августа.

– Я разговариваю, – возражает человек, которого Титус зовет Иваном.

Человек, которого Титус зовет Иваном, переводит взгляд на бокал пива перед собой, затем крепко сжимает его правой рукой и медленно – словно бокал едет по канатной дороге – подносит к губам. Он отпивает половину бокала за один глоток. Может быть, человеку, которого Титус называет Иваном, – на самом деле две сотни лет. Никто и никогда не смог разрубить его пополам, чтобы убедиться.

Бич Данг приближается к столу, начиная голосить издали. Она одета в длинное сверкающее изумрудное платье, которое облегает ее грудь и ноги, полностью скрывая стопы; так что когда она идет через верхнюю обеденную зону «Мамы Пхэм», то выглядит так, будто летит к нам над полом. Даррен Данг плетется в ее кильватере, явно чувствуя себя не в своей тарелке из-за элегантного черного пиджака и брюк, которые он не столько носит, сколько терпит.

– Добро пожаловать, дорогие гости, добро пожаловать, добро пожаловать! Присаживайтесь поудобнее! – Она обнимает Титуса Броза. – Очень надеюсь, что все пришли с хорошим аппетитом! Я приготовила сегодня больше горячих закусок, чем когда-либо за один вечер.

Точки зрения. Направления. Ракурсы. Мама в красном платье, смеющаяся с Лайлом, накладывающая себе на тарелку куски телупии. Телупия плавает в соусе из чеснока, чили и кориандра, в ее обугленном колючем спинном плавнике так много обнаженных белых костей, что они похожи на изогнутые клавиши какого-то кривого органа, на котором дьявол играет в аду.

Титус Броз положил руку на плечо своей дочери Ханны и разговаривает с нашим местным депутатом, который пытается подцепить палочками кусок мяса из вьетнамского салата с лимонником и рисовой лапшой.

Лучший друг Лайла, Тедди, пялится через стол на мою маму.

Бич Донг машет, чтобы на стол несли очередное блюдо.

– Тушеный змееголов, вьетнамская пресноводная рыба! – поясняет она.

Даррен Данг сидит слева от меня, а Август справа. Мы все трое наворачиваем роллы в рисовой бумаге. Человек, которого Титус зовет Иваном, сидит напротив, высасывая мякоть из ярко-оранжевой клешни краба, обжаренного в соусе чили.

– Иван Кроль, – говорит тихо Даррен, не поднимая головы от своего ролла и не прекращая жевать.

– А? – переспрашиваю я.

– Прекрати таращиться на него, – продолжает Даррен, незаметно кивая головой в направлении человека, которого Титус называет Иваном.

– Меня от него в дрожь бросает, – признаюсь я.

За столом шумно. Ресторанные звуки, завывания певицы под нами на первом этаже, болтовня подвыпивших гостей за нашим столом и булькающий смех Бич Данг создают вокруг нас с Дарреном невидимую звуконепроницаемую будку, позволяющую нам свободно говорить о людях, сидящих поблизости.

– Вот за это ему и платят, – говорит Даррен.

– За что?

– За то, что он наводит на людей страх.

– В каком смысле? Чем он занимается?

– Ну, днем он управляет фермой лам в Дэйборо.

– Фермой лам?

– Ага, я там был. У него на ферме полно лам. Гребаные безумные зверюги, будто осел трахнул верблюда, и вот это получилось в результате. У них огромные желтые нижние зубы, как самые паршивые брекеты, которые ты когда-либо видел. И толку от этих зубов никакого – даешь им половинку яблока, а они даже не могут ее разжевать, им приходится мусолить ее на языке, словно это леденец или типа того.

– А по ночам?..

– А по ночам он наводит на людей страх.

Даррен вертит крутящийся поднос на столе и поворачивает лоток с запеченным в соли и перце крабом на нашу сторону. Он берет клешню и три хрустящих ноги и кладет их в свою маленькую тарелку с рисом.

– И это его работа? – спрашиваю я.

– Блин, да! – говорит Даррен. – На нем одна из самых важных работ во всей команде. – Он качает головой. – Господи, Тинк, ты какой-то бестолковый, а еще сын наркоторговца.

– Я же говорил тебе, что Лайл мне не отец.

– Прости, опять забыл, что он твой временный папаша.

Я беру соленую острую клешню и разгрызаю ее мощными боковыми зубами, и прожаренный панцирь краба трескается под давлением, как яичная скорлупа. Если бы у Дарры имелся свой флаг, которым мы, местные жители, могли бы размахивать на парадах, то на нем непременно следовало бы изобразить соленого острого грязевого краба с мягким панцирем.

– Как именно он нагоняет на людей страх? – не унимаюсь я.

– Репутация плюс слухи, как говорит мама, – объясняет Даррен. – Любой может заработать репутацию, в общем-то. Просто выйди на улицу и всади нож в горло ближайшего бедного ублюдка, которого увидишь.

Даррен вновь поворачивает поднос и подвозит к себе рыбные котлеты.

Я не могу оторвать глаз от Ивана Кроля, выковыривающего кусочек крабового панциря из своих крупных, пожелтевших от табака зубов.

– Конечно, Иван Кроль совершил какую-то часть плохого дерьма, о которой известно всем, – говорит Даррен. – Где-то пуля в затылок, где-то ванна с соляной кислотой, но то дерьмо, о котором мы не знаем, – оно пугает людей. Эти слухи, которые накапливаются вокруг такого парня, как Иван Кроль, – они и делают за него половину работы. Это слухи, от которых у людей мурашки по коже.

– Какие слухи?

– Ты не знаешь слухов?

– Какие слухи, Даррен?

Он кидает взгляд на Ивана Кроля. Он наклоняется поближе ко мне.

– «Танец костей», – шепчет он. – «Их кости», «Их кости», ну!²²

– Что? О чем ты, блин, вообще?

Он берет две крабих ноги и изображает ими на столе танец, как будто это человеческие ноги.

– Кости паль-цев ног крепятся к сто-пе, – напевает он. – Кости сто-пы крепятся к икре. Кости ик-ры крепятся к ко-лену, а теперь все их кости растрясем!

Даррен разражается смехом. Он протягивает руку и хватает меня за шею, сильно стискивая.

– Шейные ко-сти крепятся к башке! – поет он и приставляет мне кулак ко лбу. – А кости башки пере-хо-дят в члено-кость!

Он стонет от смеха, и Иван Кроль поднимает взгляд от тарелки, окидывая эту сцену безжизненными карими глазами. Даррен тут же выпрямляется и подбирается. Иван роняет голову обратно к своей тарелке с расчлененным крабом.

– Придурок, – шепчу я. Теперь уже я наклоняюсь к нему поближе. – Что ты там талдычишь о костях?

– Забудь об этом, – говорит Даррен, копаясь палочками в рисе.

Я хлопаю его по плечу тыльной стороной ладони.

– Не будь такой жопой.

– Почему тебя это так волнует? Собираешься однажды написать об этом в «Курьер мейл»? – язвит он.

– Мне нужно знать все это дерьмо, – настаиваю я. – Я работаю для Лайла немного.

Глаза Даррена загораются.

– И что же ты делаешь?

– Я наблюдаю за обстановкой, – гордо отвечаю я.

– Что? – хохочет Даррен. Он откидывается на спинку стула и чуть живот не надрывает от смеха. – Ха! Тинкербелл следит за обстановкой! Ну все, спасибо Господу – Тинкербелл на страже! Слава яйцам! И за чем именно ты следишь?

– Я подмечаю подробности, – говорю я.

²² В оригинале – «Dem bones», все три раза шепчет Даррен. Название танца и песенки, исполняемых на Хеллоуин, разговорное коверканье «Them bones», т.е. буквально «Их кости» или скорее «Ихние кости». Эта песенка напоминает структурой «Дом, который построил Джек», а танец – «Танец маленьких утят». Эта песенка – передразнивание известной песни с тем же названием в стиле «Спиричуэлс».

– Подробности? – фыркает он, хлопая теперь себя по коленям. – Какого типа подробности? Вроде того, что сегодня на мне зеленые шорты и белые носки?

– Ага, – киваю я. – Вообще все. Все мельчайшие детали. Детали – это информация, говорит Дрищ. Информация – это власть.

– И Лайл хочет припахивать тебя на полный рабочий день?

– Наблюдение никогда не прекращается, – сообщаю я. – Это работа на двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.

– И что ты видел сегодня вечером?

– Расскажи про танец костей, и я расскажу, что видел.

– Расскажи, что ты видел, и я расскажу про танец костей, Тинк.

Я глубоко вздыхаю и смотрю через стол. Лучший друг Лайла, Тедди, все еще пялится на мою маму. Я видел мужчин, так глядящих на мою маму, и раньше. У Тедди пышные черные кудрявые волосы, оливковая кожа и толстые черные усы того типа, про который Дрищ говорит, что их носят мужчины с большим эго и маленькими членами. Дрищ говорит, что не хотел бы сидеть в одной камере с Тедди. Он никогда не поясняет, почему. В Тедди есть что-то от итальянца, возможно, от грека, с материнской стороны. Он замечает, что я смотрю на него, когда он глазеет на маму. Он улыбается. Я видел такую улыбку и раньше.

– Как дела, ребятки? – спрашивает Тедди, перекивая застольный шум.

– Спасибо, Тедди, все путем, – отвечаю я.

– Как жизнь, Гусси? – не унимается Тедди, салютуя Августу поднятым бокалом пива. Август в ответ приподнимает кружку с лимонадом, не совсем искренне вздернув левую бровь.

– Так держать, молодежь! – улыбается Тедди, сердечно подмигивая.

Я снова наклоняюсь к Даррену.

– Все самые крошечные подробности, – говорю я. – Миллион мелочей в один присест. То, как у тебя согнут правый указательный палец, когда ты держишь палочки для еды. Запах твоих подмышек и влажное пятно на твоей рубашке. У женщины, сидящей вон там, – на плече родимое пятно, формой похожее на Африку. То, что дочь Титуса, Ханна, ничего сегодня не ела, кроме нескольких ложек риса. Титус не убирает свою ладонь с ее левого бедра вот уже больше тридцати минут. Твоя мама сунула конверт нашему дружелюбному местному депутату, а затем наш общительный местный депутат вышел в туалет, а когда вернулся, то сел на свое место и, подняв бокал, кивнул твоей маме, которая стояла у холодильника с напитками. Она улыбнулась и кивнула в ответ, а потом спустилась вниз поговорить со старым крупным вьетнамцем, сидящим возле сцены и слушающим, как эта ужасная певица пытается вытянуть песню «New York Mining Disaster 1941» группы «Би Джис». Там у аквариума с форелью пацан машет перед рыбой бенгальским огнем. А старшая сестра этого пацана – Туи Чан, которая учится в восьмом классе средней школы пригорода Джиндейли; и она выглядит сегодня до охречения прекрасно в этом желтом платье, и взглянула на тебя уже четыре раза за вечер, а ты слишком тупая задница, чтобы заметить это.

Даррен смотрит в обеденный зал нижнего этажа, и Туи Чан ловит его взгляд, улыбается и отбрасывает прядь прямых черных волос с лица. Он тут же отворачивается обратно.

– Черт побери, Белл, – он удивленно крутит головой. – Ты прав. Я думал, там просто какая-то кучка придурков ужинает.

– Теперь расскажи мне про танец костей, – требую я.

Даррен делает глоток лимонада, поправляет пиджак и брюки. Затем опять наклоняется ко мне, и мы косимся на предмет нашего обсуждения, Ивана Кроля.

– Тридцать лет назад пропал его старший брат, – начинает Даррен. – Этого парня звали Магнар, и знаешь, даже его имя означало по-польски «злойный мудака» или что-то вроде того. Самый крутой ублюдок в Дарре. Настоящий садюга. Издевался над Иваном постоянно. Прижигал его сигаретами и прочее дерьмо, однажды привязал к рельсам и отхлестал электрическим

проводом. И вот в один прекрасный день Магнар, по-видимому, перебрал польского самогона, на пятьдесят процентов состоящего из ракетного топлива, и вырубился в семейном сарае, где оба брата занимались каким-то кузовным ремонтом. Иван хватает брата за руки и тащит к задней стороне семейного выгула для скота, в сотне метров от сарая, и оставляет его там. Затем, спокойный, как удав, он набрасывает контакты на два провода, бегущие вдоль заднего забора, приносит циркулярную пилу, подключает ее и отпиливает своему брату голову так же хладнокровно, как срезал крышу с «Форда-Фалкона».

Мы смотрим на Ивана Кроля. Он поднимает взгляд, будто чувствует, как мы глазеем на него. Он вытирает губы салфеткой, взяв ее с колен.

– Эта срань действительно случилась? – шепчу я.

– Мама говорит, что слухи об Иване Кроле не всегда точны, – отвечает Даррен.

– Я так и думал, – говорю я.

– Да не, чувак. Ты меня не понял. Она имеет в виду, что слухи об Иване Кроле никогда не расскажут полной правды, потому что полная правда – это такой звездеч, что большинство здравомыслящих людей просто не могут уложить это у себя в голове.

– Так что же он на самом деле сделал с Магнаром, и что осталось от Магнара?

– Никто не знает, – говорит Даррен. – Магнар просто исчез. Пропал. Больше его никогда не видели. Все остальное – просто перешептывания. И в этом гениальность Ивана. Вот почему он так великолепен в том, чем теперь занимается. Сегодня его цель бродит где-то по улицам. А завтра его цель не бродит вообще нигде.

Я продолжаю смотреть на Ивана Кроля.

– А твоя мама знает? – спрашиваю я.

– Знает что?

– Что Иван сделал с телом своего брата?

– Не, мама не знает всякую срань. Зато я знаю.

– Так что же он с ним сделал?

– То же самое, что он делает со всеми своими целями.

– И что именно?

Даррен вращает поднос, останавливая его, когда к нам подплывает блюдо, наполненное крабами в чили. Он берет песчаного краба, приготовленного целиком, и кладет на свою тарелку.

– Смотри внимательно, – говорит он.

Он хватает правую клешню краба, отрывает ее с корнем и высасывает внутренности. Хватает левую клешню и выворачивает ее из панциря так же легко, как вынимается палка из плеча снеговика.

– Это руки, – говорит он. – Теперь ноги.

Он отрывает три ноги с правой стороны панциря. Три ноги с левой.

– Все эти цели просто исчезают, Тинк. Стукачи, болтуны, враги, конкуренты, клиенты, которые не могут оплатить свои долги.

Затем Даррен отрывает у краба четырехсуставчатые задние гребные ноги, каждый сегмент которых напоминает маленькое плоское грузило. Он высасывает мясо из всех этих ног и складывает их неповрежденные оболочки обратно рядом с панцирем, в точности туда, где им положено быть анатомически, но не касаясь панциря. Он возвращает клешни на место, и ноги тоже, в миллиметре от тела краба, пропитанного соусом чили.

– Расчленение, Илай, – шепчет Даррен.

Даррен смотрит на меня и видит тупой взгляд на моем тупом лице. Затем он собирает все крабовые ноги и клешни и бросает их в перевернутый панцирь.

– Гораздо проще перевезти тело, разделанное на шесть кусков, – говорит он, кидая панцирь в миску, где уже высится гора высосанных и выброшенных ошметков.

– Перевезти куда?

Даррен улыбается. Он машет головой в сторону Титуса Броза.

– В хороший дом! – говорит он.

К Повелителю Конечностей.

В этот момент Титус встает и стучит по бокалу вилкой.

– Прошу прощения, дамы и господа, но я считаю, что пришло время отметить этот необыкновенный вечер кратким выражением благодарностей.

На обратном пути домой Орион уже скрыт плотными тучами. Август с мамой вырвались вперед от нас с Лайлом. Мы смотрим, как они балансируют на зеленых бревнах-заборах, окаймляющих парк Дьюси-стрит. Эти бревенчатые ограждения – каждое из одной длинной обработанной сосны, выкрашенной светло-зеленой краской и покоящейся на двух пнях, – вот уже примерно шесть лет играют для них роль гимнастических бревен, на которых выступают наши спортсмены-олимпийцы.

Мама изящно вскакивает на перекладину двухфутовой высоты и удерживается на ней. Она смело подпрыгивает, исполняет в воздухе фигуру «ножницы» и снова приземляется на перекладину. Август горячо аплодирует.

– А теперь великая Команечи²³ готовится к соскоку, – говорит она, осторожно приближаясь к краю бревна. Она делает серию завершающих взмахов прямыми руками с изогнутыми по-лебединому ладонями – для большего эффекта и признания толпой воображаемых монреальских судей и соперниц на непростой Олимпиаде 1976 года. Август протягивает руки вперед, присев на полусогнутых ногах. И мама спрыгивает в его объятия.

– Идеальная десятка! – говорит она. Август в восторге кружит ее в воздухе.

Они идут дальше, и теперь Август запрыгивает на очередное бревно.

Лайл наблюдает за ними издали, улыбаясь.

²³ Надя Команечи (род. в 1961 г.) – румынская гимнастка, одна из лучших мировых гимнасток XX в., пятикратная олимпийская чемпионка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.